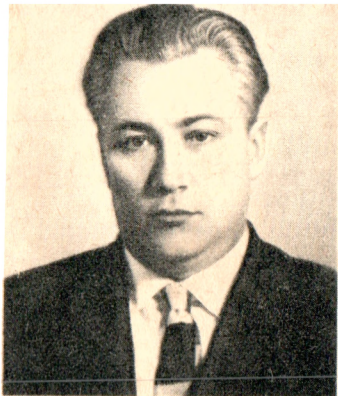


**ЮРИЙ НАГИБИН**  
**СТРАНИЦЫ**  
**ЖИЗНИ**  
**ТРУБНИКОВА**

*Короткое*  
ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ



### ОБ АВТОРЕ

Юрий Маркович Нагибин родился в 1920 году в Москве. Учился на сценарном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии, но началась Отечественная война, и он ушел добровольцем на фронт. В действующей армии был на политработе. После контузии до конца войны работал военным корреспондентом газеты «Труд»

Писать начал рано. Первый рассказ был опубликован в журнале «Огонек» в 1940 году.

Ю. Нагибин — автор ряда сборников рассказов: «Большое сердце», «Зимний дуб», «Зерно жизни», «Человек и дорога», «Ранней весной» и других, а также повестей: «Павлик», «Трудное счастье», «Бэмби» (по мотивам одноименной сказки Ф. Зальтена).

По своим повестям и рассказам Ю. Нагибин написал сценарии фильмов, среди них — «Трудное счастье», «Ночной гость», «Неоплаченный долг», «Братья Комаровы».

**ЮРИЙ НАГИБИН**

**СТРАНИЦЫ  
ЖИЗНИ  
ТРУБНИКОВА**

**П О В Е С Т Ъ**

---

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
• СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •  
МОСКВА • 1963**

## ЧИТАТЕЛЮ О КНИГЕ

Судьба Егора Трубникова, героя этой повести, своеобразна и вместе с тем типична. В Отечественную войну, командуя полком, он был тяжело ранен при взятии Берлина. Но мужественное сердце не позволило Трубникову жить тихой жизнью инвалида-пенсионера, и он возвращается в родную деревню, чтобы поднять из пепла разрушенный войной колхоз.

Трубников вступает в борьбу с разрухой, душевной усталостью людей, с демагогией неумелых районных руководителей. Его подлинная партийность, огромная энергия, потребность жить горестями и радостями людей заставляют колхозников поверить в этого сурового человека.

О том, как нелегко и непросто приходит победа к Егору Трубникову, и рассказывает новая книга Ю. Нагибина.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ему ли не знать, как выглядят разрушенные войной деревни, он перевидел их без числа на своем веку. К тому же он слышал, что немцы перед уходом спалили Коньково. Почему же так болезненно поразили его обгорелые стропила, голые печи, похожие на кладбищенские памятники, одиночество уцелевших изб, редкие искалеченные деревья, такие черные и сиротливые в мутно-желтом свете месяца? Быть может, оттого, что рядом с ожидаемым в нем жил прежний облик Конькова — потонувшей в зелени, не ахти какой казистой и все же живописной, веселой деревушки его детства, с ее синими наличниками, желтыми подсолнухами, скворечнями в голубом небе. Да и впрямь ли была веселой эта затерявшаяся в глухомани деревня над тонкой, как нитка, речушкой Курицей? Жили тут насыто и грязновато, баню топили по-черному, в избах запах угара перемежался с кислой вонью мокрой телячьей шерсти, куриного помета и поросячьего пойла. Но детство все равно было веселым, чистым, свежим, оно не пахло ни чадом сырых дров, ни смрадом набившегося в человеческое жильё зверья, оно пахло яблоками, скошенной травой, речкой, снегом, это так рано оборвавшееся детство. Ему не было семнадцати, когда труба красноармейской части, расположившейся на привале возле деревни, увела его из бедного родительского дома на горькие и святые дороги гражданской войны.

С тех пор было много дорог, земель и стран, но лишь раз военная судьба подвела его близко к родному краю. В Отечественную войну его полк занимал оборону неподалеку от Конькова, но побывать в деревне ему так и не привелось. И вот спустя двадцать семь лет он вернулся сюда навсегда.

Движением плеч Трубников поправил за спиной рюкзак и крупно зашагал по грязи, желто отблескивающей месяцем, к околице, от которой остались лишь покосившиеся столбы. Под ноги ему метнулся какой-то черный клубок, и мертвую тишину пустынной, спящей деревни прорезал бешеный, взახлеб, лай. Большой, худущий, черный пес закружил вокруг Трубникова, давясь злобным, хриплым лаем. Трубникову вспомнилась старая солдатская шутка: когда собака с лаем гонится за машиной, надо резким движением сунуть ей фигу, собака мигом останавливается как вкопанная и замолкает в глубоком изумлении. Но пешеходу эта уловка не помогает. Собаки почему-то не боятся фигуры пешего человека. Он почувствовал, что кто-то рванул его сзади за шинель, быстро обернулся и, не целясь, угодил ногой в бок другому псу. Пес отскочил с воем. Теперь со всех сторон, внезапно отделяясь от тьмы, будто рождаясь в ней, на Трубникова стали налетать тощими призраками голодные, одичавшие псы.

«Как волки, — подумал он. — А может, они и верно волчьего семени? За войну многие псы породнились с лесом. Гляди, порвут шинель, сапоги...» И тут в грудь ему толкнулось костлявое легкое тело и возле самого горла клацнули собачьи клыки. Знакомое, давно не испытанное ощущение странной, напряженной ясности овладело Трубниковым. Такую пронзительную, морозную ясность он испытывал обычно во время боя, когда мысли, короткие, четкие, рубленые, стремительно проносились в мозгу, облекаясь в решения.

До ближайшей избы ему не добежать. Он еще не овладел равновесием своего однорукого тела, даже при быстрой ходьбе его заваливает влево. Вокруг ни кола, ни палки, ни камня. Но есть другой боезапас. Хорошо, что он сохранил едва початую в станционном буфете бутылку мутного, прокисшего пива. Пить эту дрянь было невозможно, и все же он зачем-то сунул бутылку в карман рюкзака. Сильно двигая плечами и помогая себе левой рукой, Трубников стал стягивать рюкзак. При этом он внимательно следил за собаками. Яростно лая и припадая на передние ноги, они то приближались к нему, то без видимой причины пятились назад. Наконец он снял рюкзак, расстегнул ремешок и нащупал холодное, скользкое тело бутылки. Оторвав зубами железную ребристую пробку, он плеснул в собак пивом. С визгом, будто ошпаренные, худые призраки метнулись прочь. Куда там волки, — жалкие шавки, обозленные голодом, но сохранившие под нестойкой свирепостью трусливую покорность бездомных деревенских псов.

Трубников швырнул в них бутылкой и быстро пересек улицу. Собаки последовали за ним, по-прежнему рыча и лая, но теперь уже в почтительном отдалении.

Трубников огляделся. Неподалеку горбилась кривой соломенной крышей вроде бы жилая избенка. Резко нагнувшись, будто за камнем, он отогнал псов, быстро прошел к избенке, поднялся на ветхое крыльцо и стукнул кулаком в дверь. Незапертая дверь отлетела от его руки, он вошел в пустые, пахнущие землей сени, нашарил рваную войлочную обивку другой двери и, споткнувшись о порожек, ступил в избу.

— Кто там? — раздался откуда-то сверху, словно с потолка, сиплый старушечий голос.

— Переночевать пустите? — спросил Трубников.

— Чего же пускать, коли сам зашел?.. На, держи, у нас постелев нету.

Пахнув в лицо воздухом, мимо Трубникова пролетело что-то большое и тяжело шмякнулось на пол. Он нащупал теплый от печи овечий тулуп.

— Спасибо, бабушка.

Сев на лавку, он стал стягивать сапоги. Упираясь кулаком в подъем, он силился носком другого сапога сдвинуть пятку. Но левая рука его все еще оставалась неловкой, и сапог не поддавался. Спать обутым? Не отдохнешь. Можно спать в одежде, это не так важно, лишь бы ногам было привольно. Он снова что есть силы надавил кулаком на подъем, и несуществующая рука зашевелилась и потянулась на помощь руке-сиротке. Стараясь не обращать внимания на эту призрачную руку, Трубников давил все сильнее, и вот сапог поддался, и ступня скользнула в голенище. Он стряхнул сапог на пол, как поверженного врага, размотал и сбросил портянку. Со вторым сапогом дело пошло быстрее. «В общем, разуваться могу сам», — удовлетворенно подумал Трубников, растягиваясь на тулупе.

В непроглядной тьме Трубников телесно ощущал просторность избы, не населенной вещами, и дух здесь был, как в сенях, пустой, земляной. Так не должно пахнуть в человеческом жилище.

«Экая бедность!..» — подумал Трубников, забываясь тяжким сном усталости.

Когда он проснулся, было еще темно, но на улице тихо занимался рассвет. Теперь Трубников уже видел пустые углы избы, громаду печи, на которой возилось что-то белесое. Это старуха в посконной рубахе чесала себе голову.

— Бабушка, а где Силуянова дом?

— Вона! — проворчала старуха, бросив чесаться. — Так тебе Сенька Силуянов надобен!.. Кабы знала, не пустила бы...



— Громче дыши, старая! — нетерпеливо сказал Трубников. — Как мне Силуянова найти?

— Через дом от меня, будь он неладен! — огрызнулась старуха.

Трубников с трудом обулся, взял рюкзак и вышел на улицу. Лишь очутившись за порогом, он хватился, что забыл спросить старуху, по какую сторону живет Семен. Но едва увидел слева большую справную избу под железом, как сразу решил, что нашел Семена.

Он стучал долго, до боли в руке, наконец принялся колотить в дверь сапогом. В сенях послышался шорох, с лязгом упал железный засов, шелкнула задвижка, тренькнул крючок и ржаво заскрипел ключ в замке.

Дверь распахнулась. Защищая рукой фитилек керосиновой лампы без стекла, наружу выглянул Семен. Дрожащий отсвет пламени бегал по широкому, плоскому, небритому лицу, усиливая испуг и смятенность, написанные на этом лице.

— Ну, здравствуй, что ли, — сказал Трубников.

— Егорушка, — проговорил Семен, и губы его поползли в счастливой, расслабленной улыбке.

— Рад, что я, а не кто другой? — усмехнулся Трубников.

— Егорушка! — растроганно говорил Семен, будто не слыша сказанных Трубниковым слов.

Семен сунулся к нему, чтобы обнять, лампа ему мешала, он поставил ее на порог и крепко прижал Трубникова к своему теплему со сна телу. Они поцеловались, и Трубников ощутил что-то родное, то ли в запахе, то ли в знакомых ухватистых руках Семена. «Может, еще оживет старая дружба», — подумал он.

А Семен, подняв лампу с пола и держа ее вровень с лицом, пристально, с испугом и жалостью вглядывался в друга.

— Как они тебя!.. — проговорил он. Подбородок его задрожал.

— Разве не знал? — удивился Трубников.

— Откуда?.. Ты писал, что ранен, а об этом ни слова. Где же тебя угораздило?..

— Да уж под Берлином, под самый, как говорится, занавес... Ладно, может, все-таки в дом пустишь?

— Прости, Егорушка... — Семен, смешно пятась, впустил Трубникова в сени, нащупал за спиной ручку и распахнул дверь, ведущую в избу.

Трубников вошел в теплый, густо, кисло пахнувший сумрак избы и услышал, как залязгали замки и запоры.

— От кого запираешься? — спросил он, стягивая со спины рюкзак.

— Дони! — приглушенно крикнул Семен. — Слезай, Егор, старый друг, приехал.

— Не ори, детей разбудишь! — сказал с печи женский голос. Ситцевая занавеска колыхнулась, показалась полная белая нога. Отыскивая опору, нога заголялась все выше, Трубников увидел круглое колено, мясистую, тяжелую ляжку; тут Доня наконец догадалась одернуть подол.

«Раскормил бабу, — подумал Трубников, — с каких только достатков?»

— Здравствуйте, — сказала Доня, протягивая дощечкой маленькую толстую руку.

Она была невысока ростом, кругла, полна и крепка, как грецкий орех, темнобровым лицом красива. Когда Трубников подал ей левую руку, она не смутилась и ловко, будто была к тому готова, поймала ее и осторожно встряхнула.

— Поздно спите, — заметил Трубников, — по-городскому.

— А чего нам? — небрежно отозвалась Доня. — Небось в поле не идти.

Семен зажег коптилку, сделанную из стаканчика тридцатидвухмиллиметрового снаряда. От нее пополз к потолку красноватый свет. Как в блиндаже, только в блиндаже лучше, там воняло по-родному сапогами, портянками, мокрыми шинелями, махрой — крепкий мужской запах, а тут нос забивало какой-то тухлой кислятиной. Ну да, под рукомыником — кадка, до краев наполненная помоями.

Трубников пригляделся. В углу на кровати он различил две детские головы, на сундуке спала девочка, разметав по подушке легкие светлые волосы, на лежаке, поставленном на толстые чурбаки, вытянулся долговязый подросток, а в зыбке, подвешенной к матице, видимо, помещался младенец.

— Сколько их у вас? — спросил Трубников, кивнув на детский угол.

— Шестеро, — отозвалась Доня. — В зыбке близнята.

— Живем тесно, — балагурским голосом заговорил Семен. — В темноте все друг на дружку натыкаемся. А у тебя кто есть?

— Нету.

— Видать, живете просторно, — заметила Доня, собирая на стол.

Трубников усмехнулся. Да, жили просторно. А простору — в пол земного шара. За десять лет, может, и года не были вместе. А все же достаточно, чтобы родить ребенка. Но жена боялась остаться вдовой с ребенком на руках. Хотелось ему сына, да и на дочку он был согласен. Не вышло, и все!

Плеснув воды в рукомыник, Доня вышла за чем-то в сени.

— Фрицевы есть? — шепотом спросил Трубников. Спросил неожиданно для самого себя, в безотчетной догадке о какой-то тайной нечистоте этого дома.

— Один, — так же шепотом ответил Семен, ничуть не удивленный вопросом. — Петька.

Трубникову стало мучительно жаль Семена, он хотел сказать что-то доброе, но против воли вырвалось жестокое, обвиняющее:

— Кабы одна была, а тут при живом муже...

— А что мне было — на пулю лезть? — сумрачно отозвался Семен.

Вернулась Доня с миской соленых огурцов и квашеной капусты, глянула исподлобья, остро, подозрительно: слышала, как шептались.

— Умылись бы, — сказала она Трубникову, — да за стол.

Он побил ладонью в медный носик рукомойника, ополоснул лицо и, выбрав на рушнике место почище, утерся.

— Можно баньку истопить, — сказал Семен.

— Успеется...

На столе стояла миска с огурцами, квашеной капустой и солеными рыжиками, чугунок с холодной картошкой, тарелочка с салом, горкой лежал крупно нарезанный сыроватый ржаной хлеб.

— Привозной? — спросил Трубников.

— Факт, не колхозный! — с вызовом сказала Доня.

— А что так?

— Колхоз тут такой — что посеешь, назад не возьмешь.

— Одно прозвание, колхоз... — пробормотал Семен, шаря в стенном шкафчике.

— Это почему же?

— Председателя силового район прислал, — весело заговорила Доня. — Из инвалидов войны, вроде вас, только без ноги. Так он два дела знал: водку дуть да кровь улучшать.

— Это как понять?

Семен поставил на стол бутылку мутного сырца и граненые стопки. Доня ответила не раньше, чем Семен разлил спирт по стопкам.

— А так, что две ночи кряду у одной не задерживался.

Болтает свободно о чужих грехах, будто сама без вины. А в чем ее вина? С немцем спала. Да что ей было делать? Если уж кого винить, так это Семена. Не ушел вовремя, боялся хозяйство бросить, ну и получил за свою жадность сполна.

Семен придвинул к нему стопку,

— Со свиданьем!

— Не пью.

— Одну, за встречу!

— И одну не стану, в рот не беру.

— Брезгуете? — съязвила Доня.

— Не торопитесь, — холодно сказал Трубников. — Меня мой комиссар от этого отучил. Ненавижу, говорил, храбрость взаимы, воевать надо с душой, а не с винным духом. С той поры я зарекся.

— Мы не воюем, — сказал Семен, — а храбрость нам и взаимы сгодится. — Он цокнул стопкой по стопке Дони, опрокинул водку в рот и, зажмурившись, стал тыкать наугад вилкой в ускользающие рыжики.

Доня тоже выпила, в два глотка, и, не закусив, прошла в детский угол поправить сползшее с дочки одеяло. Вернувшись, взяла соленый огурец и стала сосать.

Трубников, хоть и был голоден, только поковырял холодную картошку и отложил вилку.

— Скажи, Семен, только честно, ты при немцах подличал?

— Не бойся, — сказал Семен серьезно и печально. — Меня уже таскали-перетаскали по этому делу. Ни с полициями, ни с какой сволочью не водился. А партизан насчет карательного отряда предупредил. Где надо,

о том знают. Федор Иванович Почивалин, бывший командир, письменное заявление делал. Меня больше не трогают.

— Так чего же ты боишься?

— А всего, — так же серьезно и печально сказал Семен, налил себе водку, выпил, на этот раз даже не поморщился, и медленно стал жевать сало. — Всего я теперь боюсь. И чужих боюсь, и своих боюсь, начальства всякого боюсь, указов боюсь, а пуще всего — что семью не прокормлю.

— Ну, это тебе вроде не грозит. Хлеб-то с салцем едите.

Семен махнул рукой.

— На соплях наша жизнь, чужой бедой пробавляемся. Мужиков цельных почти не осталось, у всех разруха в хозяйстве, ну, а я на всякое ремесло гожусь. С нищих гроши собираю. Не жизнь, а существование.

— Мешочничаешь тоже?

— И это бывало, — спокойно подтвердил Семен. — Когда в доме семь ртов, выбирать не приходится.

Трубников промолчал. Он опять, после долгого перерыва, почувствовал свою ампутированную руку. Почувствовал всю, с пальцами, ногтями, заусеницами, с порезом на ладони, с тонким обручальным кольцом на мизинце. И пальцы двигались, к чему-то тянулись, и ощущение было до одури подлинным. Чтобы отвлечься от боли, он встал из-за стола, вытащил из-под лавки рюкзак и подтянул его к Доне. И снова за гранью огневой боли воображаемые пальцы пришли в движение, потянулись к тесемкам рюкзака, будто желая их развязать. Чувствуя, как бледнеет и холодеет лицо, Трубников сказал:

— Вот, гостинцы вам привез.

Доня ловко развязала рюкзак и распахнула ему горло. Вынув лежавший сверху бостоновый отрез на муж-

ской костюм, она оторвала нитку и, посучив ее, поднесла к светильнику. Нитка затлела и едко завоняла овечьей шерстью. И все остальные вещи, привезенные Трубниковым, Доня изучала так, будто не в подарок принимала, а покупала на рынке. Тут у Трубникова отсеклась воображаемая рука и, освобожденный от боли, он почти с удовольствием наблюдал нагловатую повадку Дони. Насильно лишенная женской чести, Доня, видать, погасила в себе всякую стыдливость, ей наплевать было на то, что думает о ней Трубников, да и все люди на свете.

Достав со дна мешка большой кусок мрамористого стирального мыла, она вдруг слабо вскрикнула и нежным девичьим движением прижала мыло к груди.

— Ох, спасибочки! — заговорила она растроганно. — Вот уважили так уважили! У нас мыло ни за какие деньги не достать, погибаем от грязи, ей-богу!

Отчасти в расчете на ее растроганность, Трубников решил перейти к главному разговору с Семеном. Он уже понял, что Семен — подкаблучник и домом верховодит Доня.

— Вот ты жалуешься, Семен, мол, не жизнь у вас, а существование. Правильно, нашармачка не проживешь. Значит, надо колхоз строить.

— Что? — сказал Семен, подняв на него чуть захмелевшие, невеселые глаза. — Какой еще колхоз?

— Не придуряйся.

— Я с тобой по-серьезному, — обиженно заговорил Семен, — думал, может, помощь какую окажешь, хоть посоветуешь... В Москву к тебе собирался... Неужто нет у тебя для меня других слов?

— Других слов нет и быть не может, — жестко сказал Трубников. — Советскую власть не отменили. А пока есть Советская власть, будут и колхозы. И для человека, живущего на земле, нет другого пути.

— Помолчал бы уж о земле, — тихо, но с не меньшей

жесткостью сказал Семен. — Что ты в земле понимаешь? Ты еще пацаненком от земли оторвался. Тебе и чины и награды шли, а мы эту землю слезой и кровью поливали. У нас и до войны колхоз еле дышал, так нешто подымется он после такого разора?..

Семен еще чего-то говорил, а Трубников думал о том, как странно звучит в применении к нему упрек: «Оторвался от земли». Иной раз стоило невероятных усилий воли оторваться от земли и еще больших — оторвать от земли бойцов, залегших под кинжальным огнем противника. Семен ошибается, считая, что в молодые годы он раз и навсегда оторвался от земли. Он отрывался от нее десятки, сотни раз и вновь возвращался в нее, в кротичный лабиринт траншей, в норы окопов; он знал на вид, на вкус и цвет, на хруст в зубах землю Украины и Крыма, и будто кованную под снегом финскую землю, пески Монголии, жидкую кашу Мазурских болот, в прах истонченную засухой польскую землю и землю Германии...

— Нешто он поймет тебя? — услышал он слова Дони. — Начальство, известно, по верхам смотрит.

— Да и семь голодных ртов на него не разеваются, — проворчал Семен.

«А ведь у меня их скоро будет побольше, чем семь, — подумал Трубников, — сотни насытых ртов, которые не кланчить будут, а требовать хлебушка, будут крыть меня в бога, в душу, в кровь. Пожалуй, друг мой Семен, мне посолонее твоего придется...»

— Не думай, Семен, и вы, Доня, не думайте, будто не понимаю я вас. Не такое уж я высокое начальство, да и вовсе я не начальство. А только еще раз напомним: живем мы при Советской власти.

— Плохо нас твоя Советская власть защитила, — медленно проговорил Семен. — Ни от фрицевой пули, ни от чего... — Его небритые щеки слабо порозовели. — Хватит! — Он несильно, но тяжело опустил большой ку-



лак на стол. — Ничего нам от вас не надо, только оставьте нас в покое с нашей бедой, будем сами как-нибудь свою жизнь ладить. А певунов и агитаторов всяких довольно наслушались, по горло сыты.

Семен впервые намекнул при жене на свою семейную беду, и Трубников краем глаза глянул на Дону. Ничего в ней не шелохнулось, не тронулось, будто не о ней вовсе речь была. Она серьезно и сочувственно глядела на мужа, согласная с ним в каждом слове, и Трубников почувствовал то достоинство, с каким эти люди приняли обрушившийся на них стыд. Конечно, главная в том заслуга принадлежала Семену. Он не был ни подкаблучником, ни слабым человеком. Он любил жену, любил детей, любил свой дом. Он решил сохранить семью и сумел это сделать, выдержав самое страшное из всего, что может выпасть на долю человека. Он избавил жену от приниженности, а это, что ни говори, подвиг души. Семен сильный и выносливый, он только дал другое, чем он, Трубников, направление своей силе, потому что и путь в жизни выбрал другой, но требующий от человека не меньше мужества. Грош цена такому мужеству, дерьмо это, а не мужество. Если бы на мою жену полез немец, я бы перебил весь местный гарнизонишко и увел бы семью к партизанам. А если б не перебил? В том-то и дело, что такая возможность мне б и в голову не пришла...

— Можешь считать меня и певуном, и агитатором, но в одиночку никакой вы жизни не заладите. Не выйдет. Да и не дадим.

— Вон как! — сказал Семен. — Это по-дружески. Спасибо, Егор. Только тебе-то какая в том корысть? Ты в наших делах посторонний.

— Ты так думаешь? — улыбнулся Трубников.

Семен остро, чуть испуганно взглянул на него:

— Ты на какую сюда работу приехал?

— Наконец-то! А я все жду, когда ты меня спросишь. Буду я у вас председателем колхоза, если, конечно, вы берете.

Трубников ожидал удивления, огорчения, разочарования, но на большом лице Семена отразилась такая глубокая, такая искренняя жалость, что он растерялся.

— Егорушка, милый, за что же тебя так? — сказал Семен тем же тоном, что и при первой встрече, когда увидел покалеченное тело Трубникова. — Чем ты им не угодил? Сколько крови пролил, руки лишился. Ты ли у них не заслужил?

→ Брось чепуху городить! Я сам попросился.

— Вот дьяволы, что с людьми делают! — мимо его слов продолжал Семен. — Разве на них угодишь!..

— Да перестань ты, дурак-гигант! Говорю тебе, по своему желанию пошел.

— Жена ваша, значит, позже приедет? — как-то очень ядовито спросила Доня.

Трубников чуть смутился. Ему неприятно было говорить, что жена наотрез отказалась ехать с ним в деревню. Коренная москвичка, человек насквозь городской, она сказала, что жизнь вне Москвы для нее все равно что смерть. Он пригрозил ей разводом, она равнодушно ответила, что развода не даст. На жалованье учительницы пеня не проживешь, кроме того, ей не оставят трехкомнатной квартиры. Трубников увидел то, что человек более пронизательный в чувствах увидел бы куда раньше: былая любовь к нему жены не выдержала бесконечных разлук, вечного за него страха, да и того; что он вернулся калекой. А сам-то он любил жену? Он так привык скучать по ней, ждать встречи, стремиться к ней своим вечно неутоленным желанием, словно в мире не было других женщин, радоваться короткой близости, что, естественно, принимал за любовь эту власт-

ную силу притяжения. Но когда состоялся их последний разговор, он с удивлением обнаружил в себе только холод и отчуждение с примесью досады. Оказывается, жена не занимала большого места в его душе. Останься он в Москве, она бы продолжала жить с ним по привычке, из жалости, из выгоды: квартира, большая пенсия, паек, всякие льготы, да и не так просто женщине за сорок, даже хорошо сохранившейся, наново устроить судьбу. Но поступиться своими удобствами, Москвой ради него казалось ей просто диким. Он уехал, не попрощавшись. «К чему темнить? — думал он сейчас. — Все равно скоро узнается...»

— Нет, — сказал он, — жена не приедет. Дома осталась, при пенсии и квартире. Так что я вроде бы женатый холостяк.

— Ну, здесь недолго в холостяках проходите, — лениво пошутила Доня.

Трубников понял, что, если он поклянется партийным билетом, жизнью, орденами, если станет на колени под образа и призовет бога в доказательство своей искренности, ему все равно не заставить Донию поверить, что приехал сюда по собственной воле, а не в результате жизненного крушения. Жена не поехала с ним, не захотела делить его ссылки, сопутствовать неудачнику мужу — все иные соображения не стоили для Дони и копейки.

Ну и черт с ней, ему важно убедить Семена! Трубникову нужен помощник, человек, которому бы он верил, как самому себе. Он тут чужак, пришелец, ему не на кого опереться. Семен знает людей, знает хозяйство, надо, чтобы Семен был с ним. Он во всем ищет выгоды и в Москву к нему собирался, конечно, не за советом, думал пожить чем-нибудь посущественней от преуспевшего друга. Здесь его надежды рухнули, надо пробудить в нем другие надежды, а для этого Семен должен пове-

речь, что Трубников не погорел, что явился сюда для настоящего дела.

— Один большой человек — в праздник с правительством на Мавзолее стоит, — старый друг, сказал мне, когда я вышел из госпиталя: «Жить почетным инвалидом ты не сможешь, возвращайся к земле, Егор, подними колхоз, покажи, на что способны старые фронтовики».

— Ну и что? — скучно спросил Семен.

— Я к тому, что никто меня не понуждал, наоборот, создали все условия для отдыха, одной пенсии три тысячи...

— Три тысячи!.. — охнул Семен. — Это ж надо! Да с такими деньгами... тут тебе и корову, и птицу всякую, и порсят за милую душу!..

— Постой! Дай кончить. Ты знаешь, я не трепач. Коль уж я сюда насовсем приехал, можешь быть уверен, наведу порядок. Скажу тебе по секрету, меня перед отъездом министр принял, дадут нашему колхозу два грузовика бесплатно, чуешь? — Последние слова Трубников произнес с ноткой торжества.

— Хочешь от меня совет? Малость передохни и давай прямым рысом на станцию, московский идет в десять пятнадцать, билет по орденской книжке без очереди получишь...

— Шутишь!

— Какие уж тут шутки! — с твердой печалью сказал Семен. — Не лезь ты в нашу грязь, мы к ней прилипшие, а ты человек пенсионный, вольный. Ничего не добьешься, только измучаешься и здоровье даром загубишь... Может, думаешь, тебе тут кто обрадуется? — заговорил он громче, с гневным напором. — Мол, приехал герой, избавитель... Да кому ты нужен? Устал народ, изверился. Любой пьяница, бабник, вроде того старшины, людям доходчивей, он, по крайности, никого не трогал. Я четыре класса кончил, я знаю: помножай ноль хоть на миллион,

все равно нуль останется. Так вот и у нас. Уезжай подобру-поздорову, не срамись понапрасну.

— Да... — коротким вздохом Трубников словно подвел итог. — Хорошо поговорили. Теперь знаю, на тебя рассчитывать нечего. Ну что ж, Семен, оставим этот разговор. Жизнь покажет. Но только, — закончил он с угрозой, — в колхозе я вас всех заставлю работать, и тебя, и ее, — он кивнул на Доню, — и старших ребят. Не думайте отвертеться, я человек жесткий.

— Ладно вам! — сказала Доня и ладошкой прикрыла зевок. — Разошлись, петухи!.. Семен, поди-кась дров накопи.

— И то дело! — как-то разом остыл Семен и вышел в сени.

Трубников прислонился затылком к стене, от усталости и недосыпа иголками кололо глаза. Он сомкнул веки. Что ни говори, а сегодня он потерпел поражение. Плохо начинать с поражения. Но он с детства знал, как трудно одолеть каменное упрямство Семена. Как ни странно, лишь это и привлекало его в Семене, хотелось осилить его, повернуть на свой лад. Может, на скрытом единоборстве и строилась их многолетняя дружба-вражда? Семен всегда был в душе одиночкой, даже когда работал в колхозе. Если б не революция, он бы непременно в кулаки вылез. Случай не столь уж редкий! Ему не раз встречались кулаки без достатка, такие богатеи в ситцевых штанах. Иной за всю жизнь кубышку медяков не наскреб, а по душе прожил, как первейший банкир. Никакие доводы не действуют на Семена, кроме одного: рубля. «Вот этим доводом я и допеку тебя, дружище Семен!.. Допеку ли?» Ко всему у Семена еще сильная союзница, смелая в своем бесстыдстве, дерзко независимая Доня.

Трубникову вдруг вспомнилась белая полная Донина нога и ползущий по ней вверх подол. Ему стало не по

себе. Нашел время о бабах думать, очень важная для него сейчас забота. Но он знал, что зачастую начинаешь думать о них в самое неподходящее время: перед атакой, сквозь мучительную боль на перевязочном столе, в окружении, всегда, когда это особо бессмысленно. Но прежде у него был выход, он начинал думать о жене, представлял себе все, что с ней сделает, когда вернется домой, и в радостном возбуждении успокаивался. Сейчас ему думать было не о ком, вот разве о Доне, — содеянное ею чуть не на глазах у мужа невольно толкало мысли к ней. Он знал, что между этими подлыми мыслями и поступком лежит пропасть, и все же ему было противно.

— Он так и будет у нас жить? — донесся из сеней голос Дони.

— Куда ему деваться? — неуверенно проговорил Семен. — А потом, он же мне деньгами помог, когда дом строили.

«Мать честная, а я и забыл о том! Верно, когда в тридцать четвертом Семен погорел, он приехал ко мне в Москву за «вспомоществованием». Сколько я ему дал? Цена деньгам так быстро меняется, что и не вспомнить. Но, видимо, дал немало, если Семен признает мои права на эту халупу...»

— А за что его все-таки из Москвы выслали? — спросила Доня.

— Кто его знает! — задумчиво сказал Семен. — Он со всяким начальством вращался, может, кому не по трафил, темна вода.

— Нет! — сказала Доня. — Жена его прогнала, неохота ей за калеккой век свой губить.

— Дура! — свысока сказал Семен. — Тут политическое...

— Дурак! — пренебрежительно сказала Доня. — За политическое его бы не сюда, куда подальше сослали.

Жена ему изменила, а он по гордости все имущество бросил и ушел. Слушай, Семен, а он нам жизнь не изгадит?

— Друг все-таки... — неуверенно произнес Семен. — Вместе росли.

Сейчас, к утру, тяжелый дух, наполнявший избу, сгустился, обрел почти материальную плотность. Трубников приподнялся и распахнул окно.

— Чего там? — крикнула из сеней Доня.

— Душно, окно открыл.

— Ишь, распорядитель! Избу выстудишь.

— Ладно. — Трубников закрыл окно.

Подслушанный разговор не рассердил его, напротив, наполнил жалостью к этим тупым, завязшим в топком мелководье людям. «Я вас вытащу в настоящую жизнь, силком, за уши, а вытащу. И вы еще скажете мне спасибо, от сердца скажете...»

Он никогда не дожидется этого спасибо.

Понимая законы, которые движут людьми, Трубников порой не учитывал более тонкой подосновы человеческих характеров, того, что он презрительно называл про себя достоевщиной. Все мы считаемся с людьми, так или иначе нам близкими: родственниками, однокашниками, сослуживцами, однополчанами, соседями: Семен жил во внутреннем соперничестве с другом. Но пока тот преуспевал в мире, бесконечно далеком от него, Семен про себя гордился им, радовался его удаче, тем более что и ему перепадало кое-чего с этой удачи. Так, он несколько не стыдился брать у него деньги на постройку новой избы или на покупку коровы. Егор воевал, получал ордена и звания, а Семен единственный в деревне подвел дом под железо, купил городскую мебель. Он тоже первенствовал в своем малом мире, такого второго хозяина не было ни в Конькове, ни во всей округе. Но когда Егор ступил в его пределы, Семен ощерился.

Вначале он просто не поверил в друга, испугался, что тот своим неумением наломает дров и подорвет его, Семена, бедный достаток. Когда же верх возьмет Егорова правда, у Семена рухнет сердце. Да, он превыше всего ценит рубль, но «земляной» рубль он не захочет получать от Егора и по собственному желанию навсегда покинет деревню, уйдет, отравив Трубникову радость нелегкой победы.

## КНУТ И ЖАЛЕЙКА

Трубников провел рукой по глазам, прогнав остатки короткой дремы. Было совсем светло, и голубые ходики на стене показывали девятый час. Воздух в избе стал чище и прохладнее, наветрило, пока Доня хлопотала по хозяйству. У печи стоял мальчонка лет пяти, русоволосый, большеголовый, и внимательно разглядывал его голубыми смыслеными глазами.

— Тебя как звать? — спросил Трубников.

— Петька, — хриповатым детским голосом отозвался тот.

«Ах ты, Петька, фрицев сын! Ведь и в голову не придет, что чужого ты семени. Как есть русский деревенский мальчонка! И вырастешь ты справным мужичком, будешь пахать русскую землю, любить березу да клен, а не какой-нибудь там бук или каштан, пить русскую горькую, а не шнапс, в сердцах бросать: «Так твою мать!», а не «Доннер-веттер!», и женишься ты на Машке или Клавке, а не на Марте или Гретхен».

— А батька с мамкой где? — спросил Трубников.

— В город поехали... я Алешку взяли, — ревниво проговорил Петька. — Алешка-то здоровый мужик, его завсегда с собой берут,



«А вас на кого оставили?» — хотел спросить Трубников, но тут мимо него, застенчиво отведя взгляд, скользнула из сеней большая девочка с распущенными по узенькой спине длинными темными волосами. Из горницы донесся скрип раскачиваемой зыбки и тихая, мурлыкающая песенка.

— Это на войне тебе руку оторвало? — спросил Петька.

— Ага.

— У, фрицы проклятые! — повторяя, видимо, не раз слышанное от взрослых, сказал Петька.

Трубников поел хлеба с солью, запил водой из кадки и вышел из дому. Улица была густо замешана толстой черной грязью, а по закраинам апрельское солнце уже просушило землю, выгнало из нее зеленую траву, желтые и синие цветочки. Трубников шел по улице, пытаясь вызвать в памяти ее прежний образ. Но она помнилась ему как-то в общем, даже уцелевшие дома, а их было куда больше, чем ему виделось ночью, не толкали память к узнаванию. Лишь раз шевельнулось в нем смутное воспоминание. За канавой, пересекавшей улицу, широко раскинул ветви старый вяз. Еще голый и черный, он предстал Трубникову всюю зеленым, шумящим могучей кроной, озаренной вдруг широкой, как зарница, фиолетовой молнией. Верно, было такое в детстве: ветер и молния и пронзительно зеленый в солнечном сумраке предгрозя старый вяз.

Трубников перебрался по мостику через канаву, бурлящую темной водой, и увидел слева, по другой стороне улицы, длинный приземистый сарай под соломенной, зияющей огромными прорехами крышей. Возле распахнутых ворот высилась груда раскисшего навоза. Похоже, коровник. Он стал осторожно переходить улицу. Ему это было не просто, все равно что перейти речку вброд, Сапоги увязали в грязи, его заваливало влево, в перевес

тела, он чуть не запахал носом грязь. «Хорошее было бы для меня начало», — подумал он, злясь и усмехаясь.

Из ворот вышла старуха с узким носатым лицом и сухими, тонкими губами. Прикрыв козырьком ладони глаза, она стала смотреть на небо.

— Здравствуй, бабушка, — сказал Трубников, подходя. — Ангелов божьих, что ли, высматриваешь?

— А тебе что за дело? — огрызнулась старуха.

— Да я так, к слову. На земле сейчас больше интересу. Это у вас что — коровник?

— Аль ослеп? Не видишь?

Недовольный сиповатый голос показался ему знакомым. Уж не у нее ли в избе он ночевал? Но старуха то ли не признала его, то ли не хотела признать.

Трубников видел в полутьме сарая загаженные стойла, желоб, полный мочи и навоза, смутно темнеющее тело лежащей коровы. Дальше отсюда хлев не проглядывался. Конечно, он не был еще председателем колхоза, инструктор райкома приедет лишь вечером для проведения выборов. Но ему скучно было болтаться весь день неприкаянным, да и грех расточать даром время.

— А ты кем тут работаешь? — спросил Трубников старуху.

Старуха поглядела на него, и догадка, что перед нею начальство, отразилась на ее большеносом лице скучным и покорным выражением.

— Скотницей.

— А доярки где?

— По домам сидят.

— Это почему же?

— Чего им тут делать! Оголодала вконец скотина, навозом доится. — В нудном, скрипучем голосе старухи проглянула горечь.

— Ну-ка зайдем!

Трубников шагнул в смрадную полутьму коровника.

В навозной жиже лежало около десятка коров, похожих на рогатых собак, так мелки и худы были их изможденные голодом тела. Голубое небо глядело на них в разрыве соломенной крыши, отблескивая в печальных влажных глазах.

— Корма еще осенью кончились. Подстилку скормили, вон крышу скармливаю, — сказала старуха и вдруг тонко всхлипнула.

— А чего на луг не гоните?

— Да, милый, они ж подняться не могут.

Трубникова уже не занимало, имеет ли он право распоряжаться. Просто он принял на себя командование, как сделал бы это в боевой обстановке, увидев, что воинская часть осталась без командира.

— Есть у вас завфермой? Нет. Пастух есть? Нету. Ладно. Ступай по домам, старая, приведи сюда баб. И кнут раздобудь. Мужики какие подвернутся, гони сюда. Не пойдут — взашей. Ясно?

— Так точно! — по-солдатски гаркнула старуха.

Длинноликая, носастая, угрюмая, она вдруг поверила, что этот незнакомый, умеющий приказывать человек спасет от гибели несчастных животных, улыбнулась ему тонкими губами, еще выше забрала подол в шаг и кинулась вон из хлева.

Вернулась она неожиданно быстро в сопровождении нескольких женщин и ребятишек, из мужиков ей никто не повстречался. И кнут принесла, старый кнут с отполированным шелком кнутником.

Трубников оглядел холодные, настороженные лица доярок, ни одно не ответило ему тем слабым светом, какой исходил сейчас от лица старой скотницы. Ладно, всему свой черед, сейчас надо поднять коров. Трубников покрепче сжал кнутник и почувствовал, что кнут у него не сработает. Мальчишкой он обращался с кнутом ловчее всех деревенских пастухат, умел извлекать из него ко-

роткий сухой выстрел, подобный винтовочному, и пулеметную дробь, острый щелк, какой издает пробитая шилом капсула от ружейного патрона, и толстый, раскатистый звук, словно за дальним холмом ухнула гаубица. И сейчас несуществующая рука проделывала нужный жест: выбрасывала кнут вперед, локоть резко назад и снова всю руку вперед с внезапной оттяжкой на себя. Но левой рукой ему не сделать этого движения.

На кормушках сохранились написанные чернильным карандашом прозвища коров. Будто в смех, прозвища были красивые, нежные: «Белянка», «Ягодка», «Роза», «Ветка»... А владелицы этих красивых, любовно выбранных имен валялись в навозной жиже, скелеты, обтянутые залысевшей шкурой. Трубников будто невзначай попробовал щелкнуть кнутом, но волосяной конец завяз в навозном болоте. И тут же среди женщин послышался смех. Усмотрели! Следят, как за врагом, дуры несчастные! Не скрываясь более, Трубников рванул кнут, веревка спетлилась и упала у его ног. Мысленно выверяя каждое движение, он снова взмахнул кнутом, и на этот раз почувствовал упругое натяжение веревки. Бабы смеялись уже громче. До чего же их довели, если вытравилась из души простая крестьянская жалость к скотине! Еще раз, еще и еще, вот он уже чувствует кнут. А ну еще! Вот оно: звонко, крупно ахнул выстрел. И, заслышав знакомый звук, вещающий о пастбище, о сладкой траве, коровы зашевелились, повернули к Трубникову худые грустные морды, а одна из них, кажется Ветка, дернула острым крупом, пытаясь встать.

— Подымайте! — крикнул Трубников женщинам.

Старуха скотница ухватила Ветку за облезлый хвост. На помощь ей пришла статная женщина в белом вязаном платке. Но вот и другие женщины, с лентой и неохотой, последовали их примеру. И ребяташки включились в это дело, как в игру. Трубников палил кнутом, порой

жалил им задние ноги коров, чтобы поддать жару. Хлюпала навозная топь, шумно и жалостно дышали коровы, ругались на коров, на детей, друг на дружку доярки, командирски покрикивала старуха скотница, и во всем этом проглядывало начало чего-то...

Первой, разбрызгивая вонючую жижу, оскальзываясь, разъезжаясь ногами, будто телок, впервые пытающийся стать на слабые ноги, поднялась Ветка. Поднялась, зашаталась. Трубников подскочил и привалился плечом к ее ребрастому, зелено облипшему боку, помог устоять. Коровы одна за другой становились на ноги, оставляя в грязи, покрывшей деревянный настил, отпечатки своих тел. Лишь Белянка, несмотря на усилия людей, так и не сумела подняться. Она тянулась мордой вверх, сучила ногами, но не смогла оторвать тело от земли.

Коровы стояли, прислонясь к столбам, поддерживающим кровлю, и казались теперь еще худее и меньше. «Коровий Освендим», — подумал Трубников, утирая рукавом потное лицо. Вокруг него жили голоса. Люди сделали какое-то маленькое дело, это сблизило их, связало языки. О чем говорили? Да так, пустое: «Санька, у тебя навоз на роже», «Одерни мне сзади, Петровна», «Знала бы, хоть фартук надела б». «А трудодни нам начислят?» — это уже целило в Трубникова. «Ясное дело! Раньше задаром работали, теперь будем за так».

— Хватит трещать, сороки! — сказала женщина в вязаном платке; у нее были свежие розовые скулы и усталые глаза.

Решив использовать это слабое подобие трудового подъема, Трубников снова заработал кнутом, а женщинам велел толкать коров к воротам хлева. Бедные животные упирались, будто там, в голубом пресэре, их ждала неминуемая гибель. Когда две из них снова плюхнулись наземь, Трубников понял, что тут силком не возьмешь.

— Стой! — крикнул он. — Найдется у вас тут, кто на дудочке играет?

— На чем? — переспросила старуха скотница.

— На жалейке, — вспомнил Трубников местное название свирели.

— Да вот, дедушка Шурик. Он весь век свой в пастухах ходил. Только стар уж больно, да, поди, и пьяненький с утра.

— Тащи его сюда!

Трубников вспомнил дедушку Шурика, старый пастух учил его играть на ивовой дудочке. Ему уже тогда было пятьдесят, и трудно даже поверить, что дедушка Шурик дотянул до нынешних дней.

Женщины не расходились, но вспыхнувший было огонек погас. Они уже не перебрасывались шутками, лица их вновь стали запертыми и отчужденными. Их удерживало сейчас жестокое любопытство, хотелось поглядеть, что станет дальше делать незнакомый, пришлый человек, который — они догадывались о том — рассчитывает занять тут какое-то место.

А ведь кого-то из этих теток он, наверное, знал девчонками. Сказать им, что он, Трубников, местный? А им-то какая радость? Ну, Трубников, друг выжиги Семена, который чужой бедой живет. Да они и сами знают, кто он такой. Донька, верно, трепнулась, а деревенский телеграф быстро работает... А вот эту с румяными скулами знал он прежде или нет? Трубников поглядел на женщину и увидел, что и она на него смотрит, но по-другому, чем ее товарки: с выжидательным интересом. Столкнувшись с ним глазами, женщина медленно отвела взгляд, скулы ее вспыхнули еще ярче. Была она рослая, статная, с высокой грудью, голову несла прямо, гордо. Нет, этой он не знал, такую и девчонкой заметишь, она, конечно, осталась бы в памяти.

Вернулась старуха скотница, ведя за рукав дряхлого

старика в рваном азымчике, валенках и теплой шапке. Дедушка Шурик, и всегда-то щуплый, усох, умалился в лесного гнома, но в белых глазах его теплилась хитреца, а его дряхлая плоть источала теплый, густой запах пло-хо очищенного самогона. Старик сжимал длинную, тонкую, темную от времени дудочку.

— Громче говорите,— предупредила Трубникова скотница, — он только про водку хорошо слышит.

Трубников звонко, обещающе щелкнул себя по горлу, и дедушка Шурик в ответ радостно закивал, его белые глаза увлажнились.

— Тогда играй! — заорал Трубников в большое, заросшее серым волосом ухо старика. — Играй, дед, и по-малу катись к выходу! Надо этих одров на луг свести! Понял? А вечером тебе водочка будет. Понял?

Дед без слов отошел от Трубникова и поднес жалейку к губам. Тоненько, нежно и жалостно запела под пальцами старика ива. Она пела о грустном, одиноком человеческом сердце, но для коров то была песня росистого луга, песня сочной травы, теплого солнца, прохладной реки. Тоненький, готовый вот-вот оборваться звук будил память о трудолюбивой жвачке, ленивой сытости, блаженной отягощенности чрева, в котором соки травы обращаются в молоко. И сквозь эту влекущую мелодию разрядом весеннего грома прогремел бич.

Робко, неуверенно шагнула вперед одна из коров. Остановилась, поводя шеей, будто прося о помощи, и вдруг засемила к старику, к его дудочке. Пятясь, дедушка Шурик повел ее за собой. Следом двинулись другие коровы, поднялись две упавшие и, шатаясь, побрели к выходу. Заливалась, звала жалейка, пугал, жалил, гнал вперед кнут. Тоскливо замычала Белянка и вдруг рывком отняла от земли свое тело. Старуха скотница и женщина в вязаном платке, подпирая Белянку с боков, повлекли ее к воротам,

Трубникову казалось, что рука, держащая кнут, вот-вот отвалится, с гнусным коварством обрубок все стремился завладеть кнутом. Он молча прошел мимо расступившихся женщин и на миг ослеп на пороге от яркого, широкого света. По-прежнему пятясь и будто пританцовывая — его плохо держали пьяные ноги, — вел за собой дедушка Шурик жалкое коньковское стадо. В ясном свете утра коровы казались призраками, выходцами из навозных могил, но они шли и шли, ниточка звука не давала им упасть. Превозмогая боль в руке, Трубников, щелкая кнутом, зашагал им вдогон.

Будто с высоты увидел он это шествие: впереди пьяненький дряхлый гном, за ним восемь полудохлых грязных одров, а сзади спотыкающийся калека, с ног до головы забрызганный навозом. «Смешно, жалко?.. Может, и смешно, — ответил он себе, — но не жалко. Потому не жалко, что это, черт меня побери, все-таки наступление!..»

## ВЫБОРЫ

**И**нструктор райкома партии Раменков приехал в Коньково на мотоцикле с коляской. Он был очень серьезен, с юношески розовой, гладкой кожей лица. Трубников попросил инструктора подбросить его в Турганово, соседнее большое село, хотел купить водку для дедушки Шурика.

Раменков был молод и полон уважения к Трубникову. В районе гордились приездом знатного земляка, там уже знали, что Трубникова принял министр сельского хозяйства и обещал ему машины для колхоза. Раменков слышал и шутливо-уважительную фразу первого секретаря райкома о Трубникове: «Это будет председатель областного подчинения». Со всевозможной деликатно-



стью Раменков дал понять Трубникову, что не очень-то удобно работнику райкома вместе с будущим председателем колхоза ездить за водкой для пастуха.

— Да, это верно, — скучным голосом сказал Трубников. — Но давши слово — держись. Старик мне помог... А пешком я и к ночи не обернусь.

Рамешков испугался, что будут сорваны выборы, и они поехали. В дороге почти не разговаривали. Было тряско и грязно. Трубников пошел в магазин. Там водки не оказалось, но ему дали адрес самогонщицы, у нее Трубников раздобыл пол-литра воняющей даже сквозь пробку мутной дряни.

Пока они ездил, кузнец Ширяев, единственный коньковский коммунист, собрал народ в конторе. Трубников занес самогон дедушке Шурику и вошел в небольшое, душное помещение конторы. Он поздоровался с колхозниками, сел рядом с Раменковым за узкий шаткий столик, крытый кумачовыми полосами материи. Сквозь тонкую ткань можно было различить перевернутые буквы каких-то лозунгов.

Раменков постучал карандашом по воображаемому графину и открыл собрание. Он не в первый раз проводил выборы председателя, но никогда еще не случалось ему рекомендовать колхозникам такого бесспорного кандидата. С людьми было туго, и нередко он вынужден был отстаивать кандидатуры председателей, которых, по совести, и близко не подпустил бы к общественному хозяйству. Так было и с пресловутым старшиной. Раменков не думал, конечно, что старшина окажется таким гадом, но и доверия к нему не испытывал. Человек привыкает ко всему, постепенно среди работников райкома возвелось в доблесть умение навязывать колхозникам сомнительных кандидатов. И когда Раменков сбыл с рук старшину, это укрепило его еще молодой авторитет. Сегодняшнее поручение было слишком легким и не сулило Раменкову

служебной славы. Но ему по-человечески радостно было представить коньковцам Трубникова.

Он не признавался себе, что несколько разочарован Трубниковым. Он ожидал от него большей представительности, солидности, больше блеска. А этот держится и простецки, и вместе с тем сухо, нерасполагающе; узкое лицо под копною желтых волос жестковато и не улыбочиво. Почему-то водку задолжал пастуху... Пришел на выборы, а ни орденов, ни медалей не потрудился надеть. То ли, верно, прост, то ли высокомерен. И безотчетно Раменкову хотелось последнего. Тогда Трубников был бы ему понятнее. Все же, начав рассказывать о кандидате, он испытывал невольное уважение. Участник гражданской войны... член партии с 1919 года... воевал под Халхин-Голом, в Польше и в Финляндии... в Отечественную войну командовал полком... награжден четырьмя боевыми орденами и шестью медалями...

«Вот это биография! — думал Раменков. — Не человек — легенда!» — и краем глаза поглядывал на Трубникова. Тот сидел, чуть пригнувшись и упираясь левой рукой в колено, и пристально, недобро смотрел на собрание. Раменкова покорила бесчувственность Трубникова и к собственной героической биографии, и к тому, что другой человек так взволнованно о нем говорит, неприятен был и его напряженный, изучающий, до угрюмости серьезный взгляд. Но вот Трубников чуть изменил своей угрюмо-напряженной позе. Немолодая, но еще свежая и остро задиристая на язык Поля Коршикова, дурачась, крикнула с места:

— Надо же, какой человек!.. Вот и кончились наши страдания!

Трубников повернул к ней голову и медленно, странно усмехнулся.

Он в самом деле не слушал и не слышал Раменкова. Он знал, что так положено, и спокойно предоставлял Ра-

менкову говорить все, что тому заблагорассудится. Он считал, что его награды и звания не много стоят в глазах этих людей, живущих из рук вон плохо, уже не раз обманутых, пусть даже невольно, тем же Раменковым. И у старшины были ордена и медали и партийный билет в кармане, и за него устами Раменкова ручался райком, а к чему это привело?.. Но думал сейчас Трубников не об этом.

Как странно выглядит это собрание: сплошь женщины. Если не считать кузнеца Ширяева да притулившегося у окна и жадно дымящего в форточку парня на деревяшке, то можно подумать, что ему досталось какое-то сказочное бабье царство. Правда, есть еще Семен, не явившийся на собрание, и дедушка Шурик, празднующий в компании с пол-литром свой трудовой подвиг. Но где мужья, отцы, братья, дети этих женщин? Война кончилась без малого год назад, с каждым месяцем все больше демобилизованных солдат возвращается по домам. Или для коньковцев другой закон? Или все они легли на полях войны? Чепуха! Так не бывает. Наверно, одни калымят по округе — коньковцы исстари и по столлярному, и по плотницкому, и по печному делу умельцы, — другие в городе устроились на стекольном заводе, на железной дороге, в различных артелях. Надо их всех под колхозную крышу собрать. «Жаль только, крыши нет», — усмехнулся он про себя. Тут понадобится гибкая тактика. Кого лаской, кого угрозой, кого соблазном выгоды, кого укором, кого силком, но всех этих блудных сыновей он вернет к родному и немилому порогу...

Трубников вдруг услышал тишину. Раменков кончил свою речь и предоставил слово ему. Трубников выпрямился на скамейке, еще раз оглядел собрание. В дверях стояла женщина в белом вязаном платке, та, которая охотнее всех помогала ему в коровнике. Ее не было в начале собрания, а потом, задумавшись, Трубников не за-

метил, как она вошла. Почему-то ему подумалось, что эта женщина одинока и среди мужиков, которых он вернет в колхоз, не окажется ее мужа. Кто-то хихикнул — он слишком затянул паузу.

— Я сперва отвечу Поле Коршиковой, — сказал он тихим, спокойным голосом, будто то были не первые его слова, а продолжение разговора.

— Неужто узнал? — ответила Поля насмешливо и смущенно.

— Узнал, — сказал Трубников. — Ты всегда побужить любила. Так вот, Полина крикнула, что кончились, мол, ваши страдания. Нет, товарищи колхозники, ваши страдания только начинаются. Вы развратились в нужде и безделье, с этим будет покончено. Десятичасовой рабочий день в полеводстве, двенадцатичасовой — на фермах. Вам будет трудно, особенно поначалу. Ничего не поделаешь, спасение одно: воинская дисциплина. Дружная семья и у бога крадет...

«Что он несет?! — с испугом думал Раменков. — Разве так можно с людьми?.. Ну, поговори о трудностях, переживаемых страной, о тяжелых последствиях войны, скажи, что партия и правительство делают все для скорейшего поднятия колхозного хозяйства. Даже старшина знал, как к народу подходить. А он грозит, будто помещик. Это не по-партийному, наконец!..» — И тут он с чувством, близким к ужасу, подумал, что Трубников вообще может провалиться на выборах, а с ним и он, Раменков, и вся вина будет свалена на него, потому что он молод, не заслужен, не знаменит.

— Товарищ Трубников, конечно, преувеличивает... — проговорил он с неловкой усмешкой.

Трубников остановил на нем тяжелый, неподвижный взгляд. Раменков смешался, нагнул голову.

— Вот чего я хочу, — продолжал Трубников. — Сделать колхоз экономически выгодным и для государства

и для самих колхозников. Нечего врать, что это легко. Семь шкур сползет, семь потов стечет, пока мы этого достигнем. Первая и ближайшая задача: колхозник должен получать за свой труд столько, чтобы он мог на это жить, конечно, с помощью приусадебного участка и личной коровы.

— Постой, милоч! — крикнула старая колхозница с маленьким личиком, похожим на печеное яблоко. — Ври, да не завирайся. Ты где это личных коров видал?

— Во сне, бабка. Мне приснилось, что через год у всех коровы будут. А мои сны сбываются.

«Не то, не то! — досадливо морщился Раменков. — Наша задача — дать хлеб государству. А он о корове! Ну при чем тут корова? Да и на какие шиши они коров купят?»

— Вопросы можно задавать? — спросила молоденькая сероглазая бабенка с младенцем на руках.

— Валяйте, — ответил за Раменкова Трубников.

— Вы, товарищ герой, в сельском хозяйстве чего понимаете?

«Готово! — подумал Трубников. — Приклеили. Теперь будут, черти, героем звать!»

— Да! Знаю, на чем колбаса растет, отчего у свиньи хвостик вьется и почему булки с неба падают. Хватит?

Раменков счел нужным улыбнуться, никто не последовал его примеру.

— А почему Семен Силуянов на собрание не пришел? — крикнул кто-то из угла.

— Семен? — Трубников пожал плечами. — А может, ему неудобно против старого друга голосовать?

— Почему же — против?

— А вы это и сами знаете.

Впервые по собранию прокатился едкий смешок.

— Вы холостой или женатый, товарищ председатель? — крикнула та же сероглазая бабенка.

«Да они просто издеваются над ним!» — подумал Раменков, даже не заметив оговорки колхозницы, назвавшей Трубникова председателем.

Но Трубников это заметил.

— Женатый.

— А чего же вы жену с собой не взяли?

— Я-то брал, да она не поехала.

— Это отчего же?

— Охота ей бросать Москву, отдельную квартиру и ехать сюда навоз месить!

— Вы-то поехали! — Это сказала женщина в белом вязаном платке.

— Я как был дураком, так дураком и умру.

Снова прокатился негромкий смешок.

— Нешто это семья: муж в деревне, жена в городе?

— Нет! — с силой сказал Трубников. — Вот я и считаю, что потерял семью. И глядите, товарищи женщины, как бы многим из вас не оказаться замужними вдовами. У кого мужья на стороне рубль ищут, советую, отзывайте их домой, дело всем найдется, и заработки будут. Я со своей стороны ставлю себе задачей всех бродяг вернуть в колхоз. Будем помогать друг другу.

— Это верно! Давно пора! Избалуются мужики! — зазвучали голоса.

«Порядок!» — решил Трубников. Он с самого начала не сомневался, что его выберут, как выбрали бы и всякого присланного райкомом кандидата. Самое простое для этого было молчать или сказать две-три нестоящие, звонкие фразы. Но ему не хотелось таких выборов. В памяти крепко засели слова Семена: «Думаешь, тебе тут кто обрадуется?.. Да кому ты нужен? Устал народ, изверился». Врешь, Семен, это ты устал, изверился, да и не верил никогда, а люди хотят другой

доли, хватит в них и силы, и веры, чтобы эту долю взять...

А Раменков совсем перестал улавливать, что происходит на этом собрании, самом странном из всех, что ему доводилось проводить. Обычно его огорчало равнодушие колхозников, казалось, им все равно, за кого голосовать. Они молча выслушивали, что им говорилось, подымали руки и сразу расходились по домашним делам. Здесь было иначе: заинтересованность, активность, но такого сорта, что невольно предпочтешь равнодушие. Конечно, Трубников сам виноват: вместо того чтобы коротко и ясно сказать о главном, он сперва запугал колхозников, потом пустился в мелкое препирательство, позволил зачем-то обсуждать свою семейную жизнь, словно это не выборы, а болтовня на завалинке.

Раменкову невдомек было, что за балагурскими, даже издевательскими вопросами, обращенными к Трубникову, крылась боязнь людей ошибиться в первом человеке, которому они готовы были поверить. Людям безмерно осточертело их скудное, жалкое, сонное и бессмысленное существование. Они помнили довоенную жизнь в колхозе, не богатую, что говорить, но по-нынешнему до слез завидную: с непорученными семьями, с праздниками, свадьбами и крестинами, с обновами, с поющей по вечерам улицей, с пересудами, сплетнями, приездом кино, с проводами молодых парней в армию и возвращением отслуживших, со всем, чем живо человеческое сердце. Им казалось: вот кончится война, и вернется былое. Но ничего не вернулось. Их оглушили звонком громких слов, а колхоз катился все дальше вниз, и они перестали верить словам. И вот пришел человек, сам немало пострадавший, и не стал бубнить им о Родине, народе, государстве, а просто сказал, что надо работать и получать за свой труд, и не в туманном будущем, а уже сейчас. Работать никто не боялся, но ни-

кто не мог взять в толк, почему труд в колхозе превратился в постылую повинность. И вот они услышали: нет, труд в колхозе не повинность, это труд на себя. Но они боялись подвоха, обмана, ошибки.

Ничего этого не понимал маленький трубоч Раменков. И уже вовсе дикой, несообразной, как в тяжелом сне, представилась ему последняя выходка Трубникова.

— Вот что, товарищи, — сказал Трубников, — всего сразу не переговорить. Завтра нам спозаранку навоз на поля возить. Давайте кончать. Ставлю на голосование свою кандидатуру в председатели колхоза. Кто за — поднимите руки. Ты что, спишь, бабка?.. Так. Против?.. Нету. Воздержавшихся?.. Нету. Теперь пеняйте на себя.

А когда задвигались лавки, зашумели голоса, он вдруг поднял руку и громко сказал:

— Стой! Как называется колхоз?

— Имени четырнадцатой областной конференции профсоюзов, — ответил кто-то, удивляясь, что Трубникову это неизвестно.

— Почему?

Молчание.

— Может, это была особая конференция? — попытался Трубников. — Исключительная конференция, которая осчастливила область? Не знаете? Все равно с таким названием колхоз не восстановишь. Надо переименовать.

В окна конторы вливался с повечеревшего, но светлого, чистого неба мягкий розовый свет. Тихий апрельский закат был под стать утренней заре.

— «Заря»! — сказал Трубников. — Заря — пробуждение новой жизни. Колхоз «Заря» — пойдет?.. Принято единогласно...



## ВЕЧЕР И НОЧЬ

Придя домой, Трубников спросил Семена, почему тот не был на собрании. Семен ел пшеник из алюминиевой миски, запивая молоком. Вид у него был усталый, верно, только что вернулся из города. Он отыскал в ложке волосок, снял его толстыми пальцами.

— А чего мне там делать — против тебя голосовать? — произнес мрачно.

— Быстро, однако, у вас связь работает! — удивился Трубников.

Семен старательно жевал кашу, Егора он к столу не пригласил.

— Деревня... — сказал он через некоторое время, — все враз становится известным. И про твои подвиги слышаны, как ты с пьяным стариком при всем народе шута корчил.

Трубников прислонился спиной к печке, лоя ее почти остывшее тепло.

— Смотри, как бы тебе в шутках не остаться, — сказал он довольно миролюбиво.

Вошла Доня с охапкой березовых чурок и свалила их у печки, чуть ли не на ноги Трубникову. Доне что-то понадобилось на лежанке, и, чтобы ей не мешать, Трубников сперва посторонился, затем вовсе отошел от печки. Он с утра ничего не ел, от голода, усталости и просквозившей его за день весенней свежести чувствовал неприятный озноб. Семен возил ложкой по металлическому донцу миски, иногда отрывая, хмуря брови, и тогда плоское лицо его становилось строгим, осуждающим.

— Раз у Доньки грудники, не имеешь права ее на работу гнать, прежде ясли построй, — заговорил Семен, когда Доня снова вышла в сени,

— Придет время, построим. А ты по той же причине думаешь отвертеться? Тебе тоже младенцев титькой кормить?

Трубников видел, как задрожала рука Семена, державшая ложку, выбив дробь по краю миски. Семен отложил ложку и стал торопливо расстегивать нагрудный карман старого френча.

— Я к тяжелой работе неспособный. Меня потому и в армию не взяли. Паховая грыжа, могу справки предъявить...

— Калымить и мешочничать ты здоров, а в поле работать больной? Ладно, найдем работу полегче.

— Не буду я работать, — тихо сказал Семен.

— Будешь! Иначе пеняй на себя.

Трубников сказал это негромко, обычным голосом, и сразу после его слов в избу ворвалась Доня с красным, перекошенным лицом: знать, подслушивала в сенях.

— Так-то вы за хлеб-соль благодарите? Спасибо, Егор Афанасьевич, уважили! Спасибо! — говорила она, отвешивая Трубникову поясные поклоны. — От всего нашего семейства спасибо!

— Хватит дурочку строить, — холодно сказал Трубников, когда Доня распрямилась после очередного поклона. — Меня на это не возьмешь. Слушай по-серьезному, Семен. Если бы я и захотел, мне тебя от работы не освободить. Народ кумовства сроду не простит. Ясно? Лучше сам скажи, какая тебя работа устраивает?

Семен молчал, потупив голову.

— Может, и дом прикажете освободить? — ядовито-враждебно спросила Доня.

— Дом тут ни при чем, — поморщился Трубников. — Это ваша собственность, и никто на нее не претендует.

— Я в ночные сторожа пойду, — разбитым голосом сказал Семен.

— Ладно, будешь сторожем. По твоим преклонным годам самая подходящая должность.

— Ты насчет дома правду сказал? — тем же больным голосом спросил Семен.

— Конечно, — пожал плечами Трубников.

— Тогда, — сказал Семен, и глаза его окровавились бешенством, — катись отсюда к чертовой матери, чтобы духу твоего поганого не было!

— Ловко! — одобрил Трубников. — Молодцом!

Он взял с лавки вещевой мешок, шагнул к порогу.

— Пусть завтра твой старшой вовремя на работу выйдет, иначе штраф.

И захлопнул за собой дверь.

На улице было темно, но не так, как в первую ночь, когда он впервые вступил в Коньково. На западе дотлевал закат, и небо в еле видных звездах еще не набрало черноты. Крепко пахло бродящей жизнью земли. Куда податься? К дедушке Шурику, в его хибарку над Курицей? Мало радости коротать ночь с пьяным стариком. К Ширяеву? У того семья большая, еще стеснишь. К молодому парню-инвалиду? А где его найти?..

Отделившись от плетня, на Трубникова с придавленным, нутряным рычанием кинулась собака и, слышно поведя носом, вильнула хвостом и затрусила прочь. Неужели за день, что он мотался по деревне, псы уже признали его за своего? С собаками оказалось легче поладить, чем со старым другом. В сущности, он может постучаться в любую дверь, ему везде дадут приют...

Трубников медленно брел по улице. Во всех уцелевших домах горел свет, люди ужинали. Может, устроиться в сгоревшей школе? Над правым крылом сохранилась кровля. Сложить по-походному костерик — милое дело! Пока он управится с этим одной рукой, как раз и ночь пройдет...

— Егор Афанасьевич! — услышал он из темноты низковатый грудной женский голос.

На крыльце дома, под новой тесовой крышей, светлеющей в сумраке, стояла женщина, придерживающая рукой у горла белый, тоже будто светлеющийся вязаный платок.

— Добрый вечер, — сказал Трубников, подходя.

— Поздно гулять собрались, Егор Афанасьевич,

— А что мне? Человек я молодой, вольный.

Он увидел, как напряглись ее брови.

— Да вы, никак, с вешмешком? В поход будто собрались...

— Переезжаю, — усмехнулся Трубников. — У Семёна тесно стало...

— Вон что-о! — произнесла она протяжно и вдруг решительно, по-хозяйски: — Заходите в избу, Егор Афанасьевич!

Трубников, не колеблясь, будто с самого начала знал, куда ведет его путь, поднялся на крыльцо и мимо женщины, ощутив тепло ее согретого вязаным платком тела, прошел в дом.

Ее звали Надежда Петровна, она была из Турганова. Сюда приехала с мужем-садоводом, коньковцы задумали сады насадить. Молодые эти сады погибли в первую военную зиму. Тогда же погиб и муж в ополчении. При немцах она с сыном Борькой скрывалась в лесах, была поварихой в партизанском отряде Почивалина, Борькиного крестного. Этот дом отстроили ей партизаны на месте спаленного немцами.

Рассказывая, женщина легко и сильно двигалась по горнице. Вот она внесла кипящий самовар, далеко отстранив его на вытянутых руках от своей большой, высокой груди, туго натянувшей ситцевую ткань кофточки. Черная шелковая юбка металась вокруг крепких голых ног в мягких чувяках, Смуглое и румяное ее лицо

было усеяно маленькими темными родинками: одна над глазом, другая на верхней губе, еще одна в углу рта и одна на мочке уха. Она заварила сушеной малины в чайнике с отбитой ручкой, мелко-мелко наколола сероватый сахар, потом принесла из кухни сковородку с жареной американской консервированной колбасой, не спросясь, порезала ее на кусочки и подвинула к Трубникову.

Достатка в доме, видать, меньше, чем у Семена: лишь под стаканом Трубникова было блюдечко, единственную чайную ложку вдова прислонила к сахарнице, вилка вставлена в самодельный черенок, самовар помят, облупился; в горнице пусто — стол, табурет, две лавки, постель на козлах. Но такая на всем лежала чистота, опрятность, так свеж и чист был воздух, горьковато припахивающий сушеными травами, что Трубникову казалось, будто из свинарника он попал в хоромы.

Стол до бледноты выскоблен ножом, дешевые граненые стаканы сверкают, как хрустальные, на окнах занавески, полы крыты исхоженными, но чистыми веревочными половиками, на стенах цветные фотографии, вырезанные из журналов, вперемежку с рисунками каких-то зданий, верно, Борькина работа, и много-много букетов травы-слезки, они стоят в пустых бутылках на подоконнике, приколоты булавками к стенам и придают уют, обжитость пустоватому жилью. Дом поделен фанерными перегородками на три части: кухню, горницу и закуток, где спит Борька. Вход в закуток задернут ситцевой занавеской. Видно, что ведет этот бедный дом твердая, надежная рука уважающего себя человека, который любому разору умеет противопоставить свой внутренний порядок.

— Хорошо у вас, чисто, — сказал Трубников.

— Было когда-то хорошо, — отозвалась Надежда Петровна, — Все разграбили, Ну, а чисто, без этого нель-

зя. Вот только с мылом беда, дорогое, и не мылится, ровно песок.

Она подвинула к Трубникову стакан горячего чая и, словно ненароком, налила ему в блюдце.

— Буду на днях в районе, ящик мыла привезу, — сказал Трубников.

— Ох, ты! — засмеялась Надежда Петровна.

Из закутка послышался тихий томительный стон, перешедший в бормотанье. Трубников взглянул на женщину.

— Борька, — сказала она спокойно. — Во сне,

— Воюет?

— Нет, смирный. Ему бы все картинки рисовать.

Трубников обвел глазами стены, увешанные рисунками, но слабый свет коптилки не давал толком рассмотреть, что там нарисовано. Одно было видно: дома, дома, большие, маленькие, простые и вычурные, в колоннами, куполами...

— Учится?

— В шестой класс ходит. Из-за войны два года пропустил.

— А школа где?

— В Турганове.

— Мы школу в этом году отстроим.

Он допил чай и носовым платком утер вспотевшее лицо.

— Ступайте умойтесь, Егор Афанасьевич, я постель постелю.

Трубников посмотрел ей в глаза.

— Сплетен не боитесь?

Она слабо улыбнулась.

— Мне что! А вас молва все равно повяжет, не с одной, так с другой.

— Я не о себе, — сказал Трубников, — я о вас думаю.

Она не ответила. Взяв светильник, она повесила его на гвозде в дверном вырезе между горницей и кухней. Трубников поднялся из-за стола и прошел в кухню. Сперва надо разуться, сапоги доверху облеплены навозом. Он сел на лавку и по-давешнему стал стягивать сапог. Но, видно, сбился неловко накрученная портянка, сапог намертво прилип к ноге. Он слышал, как мягко топаят чувяки Надежды Петровны по веревочным половикам, порой пламя светильника наклонялось от ветра, рождаемого ее крупным и быстрым телом. Надо управиться, пока она стелет постель. Он уперся рукой в подъем, носком другого сапога — в пятку, сосредоточив в этих двух точках всю силу, какая в нем оставалась. Он чувствовал, как затекает кровью лицо, и злился на себя, как всегда злился, если чего не мог сделать, потому что не признавал для себя слов «не могу». Носок сапога соскользнул с пятки, и Трубникова сильно качнуло.

— Постой, горе мое! — Надежда Петровна села перед ним на корточки, ее руки крепко ухватили сапог, грязная подметка уперлась в натянувшийся меж колен подол шелковой юбки. — Держись за лавку,

— Я сам!..

— Молчал бы уж, непутевый! — Она коротко, сильно и ловко рванула сапог и легко стянула его с ноги.

И как та прежняя деликатная неприметность, с какой она помогала ему за столом, так теперешняя ее нарочитая грубость была ему приятна, избавляла его от чего-то трудного и лишнего.

Она стянула второй сапог, размотала заскорузлые портянки и швырнула их к печке.

— Потом постираю.

— У меня другие есть, — сказал Трубников.

— По нашим местам резиновые сапоги нужны. — Она поглядела на его грязные ступни. — У вас ножки маленькие, думаю, мои сгодятся.

— Юбку испачкали, — сказал Трубников.

— Не беда.

Она достала с печки цинковую шайку, опорожнила туда полведра, унесла шайку в горницу, а когда вернулась, от воды шел теплый пар.

— Помойте ноги. — Она протянула ему обмылок, мочалку и вышла.

С трудом задрав узкие трубы военных брюк, Трубников стал намыливать ноги. Обмылок то и дело выскальзывал из пальцев, Трубников нашаривал его на дне шайки и снова принимался втирать скользкий, немылкий кругляш в кожу и снова упустил. За весь год домашней жизни после госпиталя не ощущал он так своей беспомощности, как за один сегодняшней вечер. Странно, уезжая сюда, он меньше всего думал о таких вот, трудных для него мелочах: как есть, как пить, как мыться, как разуваться и обуваться, а еще бритье, баня... Может, потому, что он рассчитывал поселиться у Семена, ему не приходило в голову, как непросто существование калеки...

Вышла Надежда Петровна в коротком старом платье, волосы повязаны косынкой.

— Давай-ка сюда! — Забрала у него мочалку, поймала скользнувший из пальцев обмылок и заработала так, что вода в шайке враз вспенилась.

Трубников покорился, но ему было здорово не по себе. Мало того, что ему моет ноги незнакомая женщина, ему трудно было принимать эту услугу именно от Надежды Петровны. Короткое платье, задравшись, открыло ее смуглые колени, к ним поминутно склонялась грудь, видная в пазухе нежной тенью раздела. Эта сильная до грубости женственность мучительно мешала ему смириться с ее опекой.

Она насухо вытерла ему ноги суровым полотенцем, слила мыльно-желтую воду в поганое ведро,



— На пол не ступайте, а половики чистые, — сказала она. — В самоваре еще горячая вода осталась, снимайте гимнастерку, я вам солью.

— Я так лягу, на лавках...

— Нельзя гостю на лавках. — Она откинула локтем выпавшую из-под косынки на лоб прядь. — Эх, Егор Афанасьевич, я в партизанах вашего брата по-всякому видела.

— Мы не в госпитале, а вы не медсестра.

— Я за все была: и кулеш варила, и бинты меняла, и горшки подкладывала.

— Знаете, Надежда Петровна, — сухо сказал Трубников, — я, может, и полчеловека, а все-таки мужик.

— Да вы первый цельный человек, какого я тут видела! Я еще утром, в коровнике, сразу поняла... Я ведь дождалась вас на крыльце, Егор Афанасьевич, — добавила она тихо. — Чуяла, что придете.

В странном смятии слушал ее Трубников. Она будто признавалась ему, а он не верил, да и не мог верить, что это правда.

Надежда Петровна вдруг приблизила к нему лицо с ярко вспыхнувшими скулами и сказала тихим, проникновенным голосом:

— Вы не стесняйтесь меня...

Он стянул гимнастерку, майку, охватил левой рукой культю, склонился над рукомошкой и тут почувствовал ее руки, повязывающие ему вокруг пояса полотенце. Он еще ниже нагнулся над бадейкой и отнял руку от культи. Краем глаза он видел свою культю, похожую на моржовый ласт, видел широкое, сухое плечо в яминах от осколков, видел сильную грудь и втянутый живот — то, что осталось от него, было не так плохо. Ребра и мускулы резко обозначились под тонкой, странно нежной кожей. Вода полилась ему на шею, струйками по спине и груди.

Женщина натирала его мылом, он смывал это мыло мо-  
чалкой. Потом она вытерла его полотенцем.

— Ложитесь, — сказала Надежда Петровна. — Я скоро...

Он прошел в горницу и разделся. Подушки были по-  
ложены так, что если она ляжет с краю, то окажется со  
стороны его культи, он даже не сможет ее обнять. Он  
стал перекидывать подушки, но устыдился и оставил  
на прежнем месте. Из кухни доносился плеск воды. Она  
мылась холодной водой, — горячей не осталось, подумал  
Трубников, — и ожидаемое показалось ему не-  
правдоподобным. Наверное, она посидит возле него, по-  
говорит и пойдет спать к сыну, в закуток.

Он удивился внезапной темноте: Надежда Петровна  
неслышно погасила светильник. Затем из темноты, со сто-  
роны окна, выплыли три звезды и повисли среди горни-  
цы: протяни руку и коснешься их холодных тел. Звезды  
исчезли, отсеченные какой-то другой тьмой, кровать чуть  
осела, одеяло шерстисто скользнуло по груди Трубнико-  
ва, звезды зажглись. Трубников был уже не один. Он не  
мог разглядеть даже контура ее головы, вмявшейся в по-  
душку, и все же знал, что это большое, неподвижное, ти-  
хое, что лежит рядом с ним, — та самая женщина, у ко-  
торой яркие скулы, усталые глаза, темные родинки, смуг-  
лые колени, большая, нежная грудь. И он сказал как бы  
в ответ себе:

— Жена не даст мне развода.

— Чего об этом думать, — слышалось словно из-  
далека, — еще разберетесь.

— С мальчонкой-то твоим как будет?

— Борька поймет, он мать жалеет...

«Жалость, во всем только жалость!» — с болью подумал Трубников.

— Вы устали, Егор Афанасьевич, спите,

— Да! — почти грубо сказал Трубников. — Завтра рано встать.

Он отвернулся к стене, подался прочь от женщины на жесткий край кровати...

И было много таких ночей: рядом и врозь. Но однажды, услышав обычное, чуть грустное «Спите, спокойной ночи», он вдруг понял что-то, резко повернулся к женщине, обнял, привлек к себе и почувствовал на лице ее слезы. Взметнулись ее невидимые руки и упали. Что-то большое, прохладное, нежное объяло Трубникова...

— Боже мой! — сказала она, потом склонилась над Трубниковым, и он увидел в темноте, что она разглядывает его удивленно, настороженно, почти печально. Она легла навзничь и положила его культю себе на грудь. И вдруг он услышал, что она плачет, очень тихо, стараясь не выдать себя.

— Что ты? — спросил он испуганно.

— Хорошо мне очень, вот и грустно. Сейчас перестану.

— Борьку разбудишь!

— Не разбужу... Боже, боже мой!.. Не сердись, я правда не виновата. Не было со мной такого в жизни, и с мужем не было...

— Скажи правду, поначалу ты что, просто пожалела меня?

— Я тебе очень обрадовалась, еще когда в первый раз заметила... А потом как увидела — ты с мешком идешь, будто толкнуло меня: как же ты один проживешь, должен о тебе кто-то заботиться. И ни о чем другом мысли не было. Показалось мне, что ты сильно раненный, и как пришла к тебе, ничего от тебя не ждала... Счастье-то какое!.. — сказала она удивленно и серьезно. — А почему у тебя детей нет?

— Жена не захотела. Я все воевал, боялась, что убьют.

— Теперь будут, — сказала она убежденно.

— Старый я.

— Сорок восемь — не старый... — Она помолчала, затем спросила молодым, немного смешным голосом: — А почему ты орденов не носишь?

— Брякают. Ходишь, как корова с колокольчиком, за версту слышно.

— Чудной ты.

— А ты милая, родная...

И, опережая забытье, с ее груди, с нежного двухолмия, Трубников окинул свою новую жизнь и понял, что эта жизнь прекрасна.

## ЧУДОТВОРЕЦ

**В** обеденный перерыв Трубников пил чай в кухне у окна. Недавно он научился держать блюдо по-купчески в пятерве, и это доставляло ему такое удовольствие, что он, небольшой любитель чая, выпивал по пяти-шести чашек в присест.

Уже другой день по-летнему сильно било солнце, толстая грязь подсушилась на складках, вода в лужах приобрела нефтяную черноту с радужным отливом, по обочинам дружно зазеленели молодые лопушки с детскими, нежно-морщинистыми листьями.

Трубников пил чай и думал, чем еще можно пожить в районе. Добыто было немало: денежная ссуда, семена, органические и минеральные удобрения, стройматериалы, всевозможный инвентарь. На последнем совещании председатель райисполкома послал ему записку с одним словом «грабитель» и с тремя восклицательны-

ми знаками. Но Трубников скромно считал, что до настоящего грабителя ему далеко и терпение районного начальства отнюдь не исчерпано. Кстати, Раменков в свой приезд говорил, что ему полагается дом. Пусть строят. Не к лицу председателю лучшего — в будущем — колхоза «Заря», орденоносцу, инвалиду войны, ютиться по чужим углам! Трубников коротко, чуть самодовольно улыбнулся. Ему построят дом, и он отдаст этот дом под контору, а нынешнее помещение конторы использует для других нужд. К примеру, там можно зимний птичник оборудовать...

Тут что-то отвлекло Трубникова от его мыслей. Он осторожно опустил на стол блюдо и толчком руки распахнул окно. Чудесный запах живой земли, травы, прогретых солнцем луж ворвался в избу, поглотив нежно-грустный аромат сухих, пушистых слезок. Со стороны околицы, глядящей на большак, медленно двигалась серединой улицы чета слепцов: высокий худой старик в армяке, суконной шапке-гречишнике, лаптях и онучах и маленькая старушка в плюшевой шубейке и черном монашеском платке. Старушка в темных очках, верно, не вовсе лишилась зрения, она шла за поводыря, левая рука старика лежала на ее плече, правая ошаривала землю длинным посохом. Выдубленное ветром и солнцем костистое лицо слепца было косо запрокинуто к небу.

Бедная его спутница не заметила большой лужи, еще чуть, и слепцы погрузились бы в холодную топь. Но старик, видно нашаривший лужу посохом, удержал спутницу за плечо и провел краем уличного озера. Казалось, сама древняя Русь пожаловала в Коньково. Даже в пору детства Трубникова никто в округе не носил онуч и лаптей. Слепцы приближались, за плечами их висели залатанные, плотно набитые котомки. В их степенной, тихой поступи было что-то скорбно-величе-

ственное и вечное, будто они несли в котомках не хлебные огрызки, а горе всей земли, печаль всех обездоленных, сиротство всех, кому негде преклонить голову.

Вот они вышли на сухой бугор как раз против дома Надежды Петровны, по другую сторону улицы, поклонились на все четыре стороны и заголосили тонкими, сильными, древними голосами, что от века голосили слепцы по всей великой Руси:

— Подайте, люди добрые, Христа ради! Слепым да убогоньким, света божьего не видящим, в темной ночи обитающим, подайте хоть копеечку, хоть корочку сухую, несытую!..

Распахнулось окошко за спинами слепцов, и наружу выглянула непокрытая седая голова скотницы Прасковьи. По-птичьи острые глаза Трубникова разглядели то обязательное, пристойно- и умильно-скорбное выражение, какое появилось на серьезном носастом лице скотницы. Седая голова скрылась, вслед за тем Прасковья вышла из дома уже в платке, держа в горстях груды хлебных корок. «Самой, поди, жрать нечего, а туда же... — с неудовольствием и нежностью подумал Трубников. — Проклятый русский характер».

Слепцы кончили причитать и затянули в голос что-то божественное. Хлипкий, треснутый старушечий дискант вплетался в сильный, глубокий, бочковый бас старика, у него оказалось два голоса — один для причета, другой для пения. Подошла с полными ведрами пожилая колхозница Коробкова и остановилась возле слепцов, как зачарованная, даже ведра забыла наземь поставить.

Трубников жадно вглядывался в худую, костистую, статную фигуру слепого старика. Из-под коротких рукавов армяка торчали большие, как лопаты, темные жилистые руки с плоскими, мосластыми запястьями, много

поработавшие крестьянские руки. Видно, старик в своем добродящем существовании вспахал немало земли, обкосил не счесть лугов, а хлеба убрал столько, что хватило бы на годовой прокорм хорошему селу. У нас почему-то ни во что не ставят земледелие старой России, а ведь Россия была житницей Европы, русским хлебом полсвета кормилось. Значит, не такие уж плохие урожаи снимал русский мужик со своей бедной земли, хоть и трудился над ней сошкой-ковырялкой да серпом с косой. Знал мужик землю, и знание свое, все умножая, передавал из поколения в поколение, и стало оно не просто знанием, а нутряным, проникающим чутьем земли...

Меж тем слепцов окружили ребяташки да около десятка старых и молодых колхозниц все с теми же привычно скорбными лицами, пригорюнившись, внимали душевно-жалостными голосам слепых певцов, иные краешком платка утирали слезу.

Трубников поглядел на часы: скоро конец обеденному перерыву. Хотя слушать божественное пение, вместо того чтобы заняться по домашности, — пусть слушают, а только через двадцать минут он прекратит концерт: пожалуйста в поле!..

Из Прасковьиных ворот вышел индюк Пылька. Это был старый индюк, которого Прасковья умудрилась сохранить при немцах, истребивших в деревне всю живность. Набалованный нежной привязанностью хозяйки, Пылька был самолюбив, раздражителен и зол, он клевал до крови своим коротким кривым клювом. Индюк вышел во всем величии: хвост павлином, голубая маленькая голова с фиолетовыми обводьями глаз гордо вскинута, с клюва свисает бледно-розовая сопля, алеет борода над перламутровым зобом. Он равнодушно прошагал крепкими суковатыми ногами мимо знакомых баб, презрительно покосился на отпрянувших ребяташек и тут увидел слепцов, Шея индюка удивленно вытяну-

лась, хвост сложился веером, сопля подобралась в крошечный рог над клювом, весь он уменьшился, утончился, разом утратив свое величие. То ли пришельцы не понравились Пыльке, то ли его задело всеобщее внимание к ним, но Пылька стал угрожающе раздуваться, словно его накачивали воздухом. Его голова, шея, набухший толстыми узлами зоб затекли кроваво-красным, и вдруг, пригнув морщинистую шею, перо дыбом, Пылька кинулся на слепую старуху. Не миновать бы ей беды, да старик махнул ненароком посохом и угодил индюку прямо по клюву. Пылька съежился, как лопнувший воздушный шар, и побежал прочь, кидая землю суковатыми ногами.

Тут Трубников высунулся до пояса из окна и поманил старика рукой. Он поманил еще и еще и досадливо нахмурил брови. Слепцы продолжали петь, то уносясь в небо, то возвращаясь к земной юдоли, но женщины заметили странные жесты своего председателя. Они недоуменно переглянулись, решив, что Трубников подзывает какую-то из них.

— Да не вас! — крикнул Трубников и снова призывно махнул старику.

За две недели, минувшие со дня избрания председателя, коньковцы убедились, что человек он, как говорится, нравный, характерный, с причудами, в которых, правда, всегда открывался какой-то смысл. Но такого еще не бывало: издевка над слепым, богом обиженным человеком!

— Стыда у тебя нет, Егор Афанасьич! — крикнула самая бедовая из баб, старуха Коробкова.

Но Трубников продолжал махать слепцу, даже культу свою в ход пустил, от локтя пустой его рукав, обычно засунутый в карман, развевался по воздуху. Видимо, слепцы ощутили какое-то беспокойство, пение обрвалось,



— Эй, дед, не видишь, что ль, тебя зовут!— заорал Трубников.

— Креста на тебе нет! — крикнула Коробкова. — Нешто слепой может видеть?!

— Сейчас прозреет! — пообещал Трубников. — Иди ко мне, дед, а то хуже будет.

— Что можешь ты сделать убогому, солнечного света не зрящему? — печально и важно подал голос слепец, поводя пустым взором по небу и верхушкам деревьев, словно Трубников был скворцом.

— Собак спущу, они у нас злые, разорвут, как тюльку.

— За решетку сядешь, — спокойно отозвался старик.

— Не сяду. Я контуженный, мне все спишется. Не веришь, их вот спроси. — Трубников махнул на колхозниц.

— И правда, дедушка! — затараторили те взволнованно и сочувственно. — С ним лучше не связываться!

— Спускай собак, — твердо сказал слепец.

— И пустил бы, — улыбнулся Трубников, — да старуху твою жалею. Эй, малый, беги на конюшню, пусть запрягут Кобчика. Свезу этих бродяг в район и сдам в милицию. Ну, живо!

— Стой! — с тем же твердым достоинством сказал старик. — Иду, непотребный ты человек!

— Иди, иди, да только без посоха. И нечего бельмы тарашить, ты мне глаза покажи!

Старик опустил свою косо задранную к небу голову, и под седыми, нависшими бровями засияли два голубых озерца, два живых, острых, непоблекших с годами глаза. Он подал руку старухе и повел ее за собой, твердо и крепко ступая лаптями.

Обманутые женщины стали было поносить странников, им было обидно за свою напрасную жалость, за то, что все они скопом оказались в дурах перед Трубни-

ковым, но тут звонко бахнул гонг, возвещая о конце обеденного перерыва, и улица вмиг опустела.

С тем долгим ненужным шумом, какой всегда производят люди, впервые переступающие порог дома, слепцы наконец вошли, и Трубников поднялся им навстречу с протянутой рукой.

— Будем знакомы. Председатель колхоза Трубников, Егор Афанасьич.

— Пелагея Родионовна, — прошелестела старушка.

Старик был кряж, происшедшее ничуть не поколебало его уверенного, спокойного достоинства.

— Кожаев, Игнат Захарыч, — произнес он внушительно.

— Присаживайтесь, — сказал Трубников.

Старики сели на лавку. Игнат Захарыч — сразу, прочно, поставив посох меж колен и опершись на него своими огромными крестьянскими руками; Пелагея Родионовна сначала пошарила позади себя, словно боялась промахнуться.

— У вас, бабушка, что — катаракты? — спросил Трубников.

— Они самые, миленький.

— Надо лечить старушку, Игнат Захарыч, так недолго и вовсе зрение потерять. Да и о себе подумайте: нельзя безнаказанно целый день заводить глаза... Ладно, рассказывайте, как дошли до жизни такой.

Старики начали побираться с того самого дня, как немцы сожгли их село на Смоленщине. Подавали им плохо, у людей самих пусто было. Глазная болезнь Пелагеи Родионовны толкнула их на мысль стать слепцами: известно, со слепцом русский человек последней коркой поделится, да и немецкие власти к слепцам снисходительней были. Так вот и ходят они до сих пор. Село их после войны восстанавливать не стали, немногие уцелевшие и вернувшиеся люди отстроились в других дерев-

нях. Ну, а им строиться не на что да и не для чего, оба сына погибли на войне, кой толк на старости гнездовить? Они сыты, в приюте отказа не знают, да и привыкли бродить по белу свету, вроде не так скучно. Кое-какое нажитое имущество хранится в верном месте...

Старик не кончил говорить, как в избу вошла раскрасневшаяся от быстрой ходьбы и любопытства Надежда Петровна.

— Познакомьтесь, моя хозяйка, — представил ее Трубников.

Странники в лад приподнялись, поклонились и сели на лавку.

— Ты чего не на работе? — тихо и сердито спросил Трубников. — Думаешь, председателевой жене закон не писан?

— Я весь перерыв назем принимала,

— Сколько прислали?

— Как условлено, десять тонн.

— Ладно, — смягчился Трубников. — Поставь самовар, напой чаем Пелагею Родионовну, а мы с Игнатом Захарычем отлучимся по делу. Двинулись, Игнат Захарыч.

Старик степенно поднялся с лавки, прислонил посох к стене и, оставшись без опоры, хорошо, пружинно растянул, расправил свое крепкое статное тело. Пелагея Родионовна посунулась было за ним, но Надежда Петровна ласково удержала ее за плечи.

— Пусть мужики наши сходят куда надо, а мы с вами чайку попьем...

Запряженный в старый, латанный-перелатанный кузнецом Ширяевым тарантас, тоже старый, костлявый, с глубокими яминами надглазьями, некогда каурый, а теперь грязно-желтый мерин Кобчик ковырял передним копытом землю, изображая из себя нетерпеливого рысака,

На козлы взобрался старший сын Семена Алексей, с отцовским широким брюзгливым лицом, и неожиданными на этом кислом лице казались яркие материнские краски: румянец щек и матовая белизна лба.

— Хорош выезд? — спросил Трубников старика, усаживаясь рядом с ним в низко осевший, как провалившийся, тарантас.

— Хорош! Хуже не бывает.

— Бывает, — сказал Трубников. — Когда его возе нет. Этот конек всю зиму на вожжах провисел, а, вишь, уже бегаёт. Давай, Алеша, с ветерком в интендантство, — так пышно именовал Трубников колхозный двор.

Парень дернул ременные, надвязанные веревками вожжи, Кобчик осадил назад, дернулся и с натугой потащил тарантас по смачно чавкающей грязи.

Им было недалеко, выезд вскоре остановился у низкого, длинного, полусгнившего сарая с провалившейся посередке соломенной крышей. Трубников и старик прошли в его пахучие недра.

— Ну, как навоз? — спросил Трубников.

Старик взял из штабеля брикет, покрутил, швырнул назад и вытер руку полой армяка.

— Дерьмо навоз.

— Почему?

— Дерьма мало, одни опилки.

— Ну, я им покажу!.. А все же на подкормку пустить можно?

— Вреда не будет.

— А польза?

— Кой-какая.

— Ясно! Поехали.

Они снова заняли место в тарантасе, и Трубников сказал вознице:

— На Гостилово,

Тарантас выехал за деревню и взял вправо, на сивевший вдалеке лес. В чистом высоком небе текли редкие светлые облака, к лесу облака уплотнились, копились там, будто на рубеже атаки. Дорога под грязью и лужицами была твердой, и тарантас шибко катил мимо вспаханных полей, реденьких зеленей, едко и сыро пахнущих мочажин, котловин, полных мутноватой воды, запененной по краю, — вода была вся в шевелении брачующихся лягушек, — мимо малых березовых перелесков в темных кулях вороньих гнезд, в металлических равных криках, всегда сопутствующих вороньему гнездо-строительству. Тарантас то бежал под уклон, и тогда копыта Кобчика глухо и часто колотили о передок, то забирал на кручу, и тогда слышалось тяжелое, натужное, с отзвоном, чавканье его оскользающихся копыт. Низко, над головой, проходили утиные стаи и высоко, широким, растянутым клином, гуси. Невидимый звенел жаворонок.

— Дед, — сказал Трубников, — вот ты бродишь по весенней земле, неужто молчит в тебе твое природное, крестьянское?

Старик не ответил.

— Тебе сколько лет? — спросил Трубников.

— Не считал. За седьмой десяток перевалило.

— Полвека земле служил, как же можешь ты паразитом по ней таскаться?

Тонкие восковистые ноздри старика зашевелились, но он опять смолчал.

Тарантас остановился с краю поля, возделанного под овес. За полем начинался дремучий Гостиловский бор, от него могуче, одуряюще несло сладким гниением и крепким соком молодой жизни.

Сошли с тарантаса, дед ковырнул лаптем землю, поднял тяжелый влажный ком, раздавил пальцами.

— Пора овес сеять? — спросил Трубников.

Что-то небрежное, важное до высокомерия и вместе серьезное, глубокое появилось во взгляде, во всем выражении худого темного лица.

— Да уж с неделю пора было!— сказал старик, не глядя на Трубникова.

— А ты не пугаешь?

Старик скользнул по Трубникову голубым взглядом, как плюнул глазами.

— Овес ранний сев любит. Кидай меня в грязь, буду князь.

Трубников крикнул от удовольствия.

— Как ты сказал?

— Не я — народ говорит, — с тем же важным и небрежным выражением уронил старик.

— До дома, до хаты! — весело крикнул Трубников.

Когда вернулись домой, — женщины все еще сидели за самоваром, — Трубников без обиняков предложил старикам остаться в колхозе.

— У нас колхоз заново слаживается. Нам позарез нужны старые хлеборобы, знатоки земли. Для совета, для научения, чтобы ни пахать, ни сеять, ни убирать, никакого дела не начинать без их веского слова. Оставайтесь у нас, дадим дом, кормовые, обзаведенье всякое, к осени корову купим. Тебя, дед, в правление введем, а Пелагея Родионовна будет греться на печи и погоду предсказывать. Чем не жизнь?

Старик молча потянул из кармана кисет с махоркой и ровно нарезанными дольками газетной бумаги, склеил длинную аккуратную сигарку, закурил.

— Зелены у вас паршивые, — сказал он, пустив голубой вонючий столб дыма, — с овсом запозднились, лошади — одры, одно слово — беднота.

«До чего дошло: побирушка, отщепенец и тот колхозом брезгует!» — чувствуя свое нехорошо опавшее сердце, подумал Трубников.

— Беднота! Да вы от нашей бедноты кормитесь. Комочки-то колхозным хлебом набиты. Тоже мне — дырчатый миллионер!

— Мы при своем деле всегда сыты да кое-чего из имущества скопили, чистым воздухом дышим и никаких горлодеров над собой не знаем. На кой ляд нам осенью корова? А до осени мы у твоего колхозного козла сосать будем?

— У тебя что, уши дерьмом заложило? — Испуганное, предостерегающее лицо Надежды Петровны помогло Трубникову сдержаться, но голос его раскололся опасной хрипотцой. — Сказал, харчи дадим, дом дадим, барахло, что еще нужно?

— А мы не просим. — Старик задал окурочок о лавку и скинул на чистый пол. — Мы тебя об одном просим: отпусти ты нас заради бога!

— Старый паразит! — сказал Трубников. Он уже овладел собой и знал, что в нужный момент остановится. — Твои сыновья за Советскую власть головы сложили, а ты по родной земле, по ее чистому телу вошью ползаешь?! Барахло скопил, а старуху свою в слепоте гноишь?

Он замолчал, услышав какой-то странный, тонкий, дрожащий звук. Пелагея Родионовна плакала, склонив к столу смугло-заветренное морщинистое личико; мелкие, как бисер, слезы катились из-под темных очков. Что-то скривилось в лице старика, но он сдержался и снова полез за кisetом. Надежда Петровна склонилась к плачущей женщине, обняла ее за плечи.

— Постыдился бы, старый человек! — сказал Трубников. — Тебе, может, в последний раз дается возможность земле послужить, кончить дни не по-собачьи, а в тепле, достатке и уважении, а ты морду воротишь? Что мы, шкуру с тебя сдерем? Будешь советчиком, только и делов,

— Несогласный я! — как-то слишком громко сказал старик. — Несогласный! — повторил он, глядя на Трубникова. — Что я, инвалид вроде тебя, али больной, али порченный, чтобы возле земли сложа руки сидеть? Совет советом, а коли нам оставаться, так уж делом дай поработать.

— В бригады пойдешь? — быстро и деловито спросил Трубников.

— А сдюжу? — Старик остро глянул на председателя. — Выше звеньевого не стоял.

— У нас бригада — что звено. Значит, заметано! Теперь вот что. Есть у тебя другая одежда или велишь достать?

— Полный костюм есть, полушубок и сапоги яловые, все имущество в верном месте положено.

— А велико ли имущество?

— Две постели, еще одежда всякая, занавески..

— Складень, — подсказала Пелагея Родионовна.

— Складень, самовар, патефон..

— Ты напиши кому надо, я завтра пошлю человека.

— Самому вроде вернее.

— Еще чего! А кто овес будет сеять? Будь спокоен, оборудуем в лучшем виде.

— Постой! — сказал старик, видя, что Трубников берется за фуражку. — Ответь мне: как ты нас разгадал?

Трубников рассмеялся.

— У меня на дезертиров и симулянтов верный нюх. Иной самострел через тряпочку или дощечку руку пробьет, рана чистая, незадымленная, а в глазах фальшь. Возьмешь такого стрелка в оборот — готово, признался! Все, расстрел перед строем. Желудки себе тоже портили. Нажрется белены или еще какой дряни — дизентерия. Ан нет! Ну, этих я в атаку, в первую цепь, и весь дрозд как рукой снимало.. Я, как увидел вас, сразу



решил: уж больно похожи, прямо со старой картины. А потом хоть ты и водил посохом, а до лужи не дотянулся, значит, должен был напрямик идти. И с индюком тоже: уж чересчур метко махнул ты палкой, прямо по клюву. Суду все ясно!

— Серьезный ты человек, Афанасьич, — с суровой приязнью сказал старик. — Ты у меня в доверии. Иначе никакой милицией не удержал бы нас. Мы, знаешь, салом смажемся и в замочную скважину уйдем. А теперь все, кончились наши скитания, старая, — впервые обратился он к жене.

— Как скажешь, Игнат Захарыч, — робко улыбнулась старуха, — а я согласная.

— Располагайтесь, — сказал Трубников, — хозяйка вас накормит, а я пойду насчет жилья улажу. — Он повернулся к Надежде Петровне. — Покормишь их, ступай с Прасковьей контору прибрать. Полы, окна помойте, печь протопите, чтоб тепло было..

— Они там ночевать будут?

— Зачем ночевать — жить!

— А контора?

— Обойдемся покамест, канцелярия у нас, слава богу, еще не выросла. Сейчас я это дело с правлением согласую.

С тем Трубников и вышел. А старики еще до заката перебрались в бывшую контору, где их ждал первый за долгие годы оседлый ночлег...

Надежда Петровна давно не видела Трубникова таким довольным, как в этот вечер. На ее глазах за короткий срок свершился целый ряд больших и малых чудес: в деревню дали электрический свет, заварилась жизнь на полях и на фермах, колхозники впервые получили небольшой денежный аванс, что ни день, грузовики доставляли в колхоз бревна, доски, кирпич. Но Трубников относился ко всему этому как к чему-то положенному

и больше хмурился. А вот сегодня он сам на себя не похож: разгуливает по избе и даже напевает что-то.

И ей взгрустнулось: вдруг он бросит ее? К такому человеку прикованы все глаза, а у них пока еще бабий колхоз. Надежда Петровна любила Трубникова, ей было с ним радостно, тревожно, интересно, никогда еще не жила она с таким интересом. Она не видела, что он пожилой, усталый человек, калека, беспомощный в простой жизни...

— Еще пяток таких стариков,— неожиданно сказал Трубников, останавливаясь перед ней, — и я с землей вот так повязан!

И он крепко сжал кулак.

— Может, один агроном вернее? — улыбнулась она.

— А вот и нет! — сказал он быстро и довольно, словно она попала в самую завязь его мысли. — Прежде всего, агронома нам сейчас не дадут. А и дали б, не знаю еще, взяли бы его. Агронома надо, как жену, выбирать.

— Ну, тогда это у тебя быстро!

— Что-о?.. Нет, я с тобой по-серьезному. Ты погляди, что газеты про колхозных агрономов пишут. Один ввел небывалый севооборот, другой проделал опыт по выращиванию новых сортов пшеницы, третий еще чего-то шиворот-навыворот произвел. Колхозы не лаборатория, не площадка для экспериментов! — Он говорил уже не для Надежды Петровны. — Создайте изобилие продуктов в стране, хоть по старинке, как деды умели, а уж там мудрите!.. Конечно, будет и у нас в свое время агроном, — это уже относилось к Надежде Петровне, — а кроме — совет стариков, сивых дедов, и буду я одним ухом к науке, другим — к простому крестьянскому слову. Вот оно как, Надя, дорогая!..

И Надежда Петровна вдруг успокоилась: «Да нет, не бросит он меня. Сейчас ему не до того, а там, поди, постареет, так вместе и кончим век...»

## УРАГАН

**Б**ез четверти пять Трубников вскочил, будто его окатили холодной водой, перемахнул через спящую Надежду Петровну, натянул одежду, ополоснулся под рукомойником и, сунув босые ноги в калоши, двинулся в обычный обход. День опять обещал быть жарким. Невысокое солнце уже пригрело землю, и росистая трава не была студеной, лишь приятно прохладной. Как подошла сеноуборка, установилась сухая, жаркая погода. Иной раз погромохивало, край неба чуть мутился далекой тучей, но грозу пронесило стононой.

Когда Трубников подошел к первой избе, ударил гонг, возвещая о побудке. Но негромкий председатель стук в ставню все же надежней. Трубников не ушел, покуда в распахнувшемся окошке не покажется заспанное лицо хозяина или хозяйки. Так он прошел всю деревню из конца в конец и уже повернул домой, когда ему повстречался Павел Маркушев, бригадир второй бригады. У коньковцев было два обширных луга, на дальнем — разнотравье, на ближнем — клевер, там и работала бригада Маркушева. Уже приступили к стогованию, и Трубников рассчитал, что дня через три, если не подведет погода, сеноуборка будет завершена.

Павел Маркушев, совсем еще молодой, стройный сероглазый парень, нравился Трубникову своим открытым веселым лицом и всегдашней щеголеватой подтянутостью.

Они поздоровались. Павел, улыбаясь и краснея, спросил:

— Так как же насчет моего дела, Егор Афанасьич?

С неделю назад Павел расписался с тургановской медсестрой Надей, но свадьба все откладывалась из-за сеноуборки,

— Дело у тебя сейчас одно — сено стоговать! — сердито отозвался Трубников.

Румянец Павла расцвел еще ярче, он хотел что-то сказать, но председатель уже показал спину.

Вернувшись домой, Трубников в сенях ощутил тепло ожившей печи. Надежда Петровна, чистая, прибранная, по-утреннему свежая, раздувала самовар старым сапогом. Пока самовар поспеет, она поможет Трубникову обуться, побреет его, напойт чаем, накормит. Трубников радовался почти казарменной точности своей домашней жизни. Только так и успеешь что-то сделать, особенно в той зябкой сумятице, какой для него, человека военного, была сельская жизнь.

— Нигде такого в заводе нет, чтобы председатель сам колхозников обходил, — заметила Надежда Петровна, взбивая пену в тазике для бритья.

Трубников задумчиво посмотрел на нее и не ответил.

Только, позавтракав, встали из-за стола, в окне показался Маркушев. У него не вышли на работу двое: Мотя Постникова и Авдотья Силуянова.

— Что так?

— Нешто их разберешь...

Мотя Постникова жила ближе, с нее и начали. Средних лет, цветущая женщина, с грустными соболиными бровями в одну черту, Мотя встретила Трубникова так, будто он к ней в гости пожаловал.

— Милости просим, Егор Афанасьевич, простите, не убрано! Кабы раньше знать...

— Не мельтешишь, — остановил ее Трубников. — Отчего второй день на работу не выходишь?

Мотя бросила возмущенный взгляд на бригадира. Павел сердито покраснел.

— По-божески? — спросила она Трубникова.

Тот кивнул.

— Лучше я вам по-партийному скажу. Свинка у меня

опоросилась. И, понимаешь, пропало у ней молоко...— От Моти веяло откровенным лукавством и свежей бод-  
ростью человека, которому все нипочем.

— Чего же ты молчала? Прислали бы ветеринара.

— Не сообразила, глупая голова. Я их сама молоч-  
ком из бутылки отпаивала. Веришь, цельные сутки глаз  
не сомкнула!

— Ну, а теперь?

Мотя сделала плаксивое лицо и махнула рукой.

— Пойдем-ка взглянем!

— Да чего смотреть-то! — радостно сказала Мотя.—  
Сейчас порядок, все, как один, из мамки сосут!

— Коль так, ступай за граблями. Мы подождем.

— Да Егор Афанасьич! — всплеснула руками Мотя,  
словно была поражена недогадливостью председателя,  
так и не взявшего в толк, что выйти ей на работу ни-  
как невозможно.

— На базар все равно не пушу, ясно? — И Трубни-  
ков вышел из избы.

Почти тотчас за ним последовал и Маркушев, крас-  
ный и оскорбленный до глубины души.

— Знаете, чего она мне шепнула? «Зачем председа-  
телю нажаловался, я бы тебе на свадьбу четверть вина  
выставила».

— Вот чертова баба!

— Егор Афанасьевич, — помолчав, просительно ска-  
зал Маркушев.— Может, все-таки разрешите сегодня  
сыграть?

— Эх тебя размывает! Уберем сено — гуляйте на  
здоровье.

— Так ведь у брата отпуск кончается! Хошь не хошь,  
а ему завтра выезжать. Урал все-таки...

— Не время сейчас, Паша. Ну кто, скажи, в разгар  
уборочной свадьбы играет?

— Да мы по-тихому, Егор Афанасьевич, водки все равно не достать. Так, с портвейчком...

— Знаю я ваш портвейчок! Завтра не добудишься!

— А если мы сегодня все подчистую добьем?

Трубников развел руками.

— Тогда что же... Я первый приду поздравить.

Павел счастливо вспыхнул.

— Ох, и обрадуется мой старшой! Очень ему хотелось на моей свадьбе погулять.

— Только помни, Паша: стог — шесть обхватов. Сенца для покрытия подкосили?

— Подкосили, Егор Афанасьич!

В заношенном жакете, по брови повязанная платком, подошла Мотя, на плече старые, с кривыми зубьями, грабли.

— Запозднились! — сказала она деловито, даже осуждающе. — А ну, ходи веселей, бригадир!

Трубников проводил их по деревне, затем свернул к дому Семена.

С того раза, как Семен выгнал его, Трубников не переступал порога его дома. Тут было по-прежнему тесно, грязно, душно. Доня рогачом передвигала чугушки в печи, на лицо ее падал красный отсвет. Ребят в избе не было, только близнята покачивались в зыбке. Увидев Трубникова, Доня выпрямилась, ее красное от печи лицо вспыхнуло еще жарче.

— Зачем пришел? Семен в поле...

— Знаю. Все в поле, кроме тебя. Приглашения ждешь?

— Чего надумал! У меня груднята.

— Не у тебя одной. Другие в поле малышей берут, а то старушку для присмотра ставят.

— Ну, а у меня присматривать некому.

— Я присмотрю.

Рогач замер в руках Дони.

— Ты?.. Ты?.. — задохнулась она, приподняв рогац.  
— А что? — Трубников впился ей в глаза. — В поле я не гожусь, я и драться-то могу только одной рукой. А ты вон как ловко рогац держишь, будто вилы. Ну, хватит торговаться, давай быстро во вторую бригаду!

— А ребят я должна покормить? — В крикливом ее тоне трещинкой пробились покорность.

Доня взяла на руки одного из близнецов, вывалила из кофты большую белую грудь с лиловым соском и сунула младенцу. Трубников отошел к окну. Деревня казалась вымершей. Даже ребяташки убежали на сеноуборку. Чистое голубое небо, без единого пятнышка, подернулось по горизонту дымной наволочью, которую Трубников принял было за тучу. Но нет, то не туча, сизоватая пелена лишена очертаний, неприметно, сливается с голубизной. Он услышал чавкающий звук. Насытившийся младенец отвалился от груди, пришла очередь кормиться его брату. Наконец Доня сказала:

— Ну, ладно, пошла...

Трубников повернулся. Доня с открытой грудью повязывала платок,

— Застегнулась бы!

— А ты не мужик, ты нянька. Чего тебя стесняться?

— Эк убил! — усмехнулся Трубников. — Да я хоть чертом буду, только работайте!

— Хорошую ролю выбрал — за писунами глядеть. — Донины пальцы бегло перебирали пуговицы кофты. — Сказать кому — не поверят.

Доня громко хлопнула дверью, заглянула в окно. Трубников сидел на табурете возле зыбки и тихонько покачивал ее. Лицо у него было серьезное и тихое. «Что он за человек такой?» — подумала Доня со странной печалью...

Вернувшись в обеденный перерыв, она застала Труб-

никова на том же месте. Качалась, поскрипывала зыбка, малыши сладко спали.

— Хорошие колхозники, выдержанные, — кивнул на них Трубников и мимо шарахнувшегося прочь Семена вышел из дома.

Во второй половине дня Трубников ездил в МТС, а по дороге оттуда завернул в бригаду Маркушева. Работа тут спорилась. Ребятишки верхом на лошадях подтягивали волокушами копны к строящимся стогам. Молодые мужики и бабы, стоя в круг, подавали сено вилами на стог, а те, что постарше и поопытней, уминали, утапывали его, подбивали с боков. Приплясывая на высокой горе почти сметанного стога и ловко принимая новые охапки, егерь Пучков, сильно пожилой, но жильный, крепкий, с зелеными кошачьими глазами, гордясь своей умелостью и хваткой, крикнул Трубникову:

— Эй, Афанасьич, велел бы пива привезть, дуже жарко!

— Высотникам хмельного не положено, — отозвался Трубников. — Сковырнешься — отвечай за тебя.

— Не бойсь! А скovyрнусь, бабоньки в подол поймают, — кривлялся Пучков.

Подошел Павел Маркушев, потный, радостный.

— Даем, Егор Афанасьич!

— Вижу. Точно шесть обхватов?

— Проверьте...— сказал Маркушев и мучительно покраснел.

Но Трубников понял смущение бригадира, лишь когда шагнул к стогу, вскинув левую руку и обрубок правой.

— Ну, моих тут поболее десятка будет! — Он засмеялся и, не желая длить смущения бригадира, пошел к тарантасу.

Неверное движение, как и всегда, обернулось болью. Ощущение было такое, будто он погрузил несуществую-



шие пальцы в ости клевера, а они оказались иголками. И эти иголки не просто кололись, они впивались под ногти.

— Домой! — коротко бросил он вознице.

На этот раз боль долго не отпускала его. Трубников лег на лавку, накрывшись шинелью и считая до тысячи, чтобы уснуть и заспать боль, потом пытался читать, наконец сказал себе: это не пройдет никогда, приучайся жить с иголками под ногтями, бывает хуже. И почти сразу боль стихла.

К исходу дня стало нещадно парить. Трубников с тревогой поглядывал на небо. Оно было все таким же чистым, голубым, лишь на западе, по горизонту, дымная пелена уплотнилась, погустела и обрела смутные очертания не дождевой, а пыльной тучи. В вышине подул ветер, частыми, сильными порывами, напрягая кроны деревьев, шелкая листвою, ероша соломенные крыши. Затем спустившись, он натянул траву и погнал по улице высокие золотистые столбы пыли. Даль заворчала громом. Ветер внезапно стих. Улеглась пыль, распрямилась трава, недвижно повисли листья. Но тишина эта была ненадежной и давящей, как тишина перед атакой. Трубников распахнул окно и далеко высунулся наружу. Тяжелая пыльная туча на западе, озаренная приближающимся к ней солнцем, стала глухо-пепельно-оранжевой, а справа и слева от нее обрисовались желтоватым обводьем почти такие же голубые, как чистое небо, но без блеска, тусклые грозовые тучи, по ним бледно проскальзывали сполохи. Трубников с досадой захлопнул окно, «Сволоочь гроза, хоть бы сутки повременила!»

Напротив, через улицу, пестрые курицы скотницы Прасковьи свирепо расклевывали какую-то кишку. И вдруг они разом, бросив кишку, повернулись в одну сторону, хвосты растопырило ветром, и куры дружно метнулись к воротам и поочередно юркнули в лаз. Сильный ни-

зовой ветер уложил траву и вновь за клубил пыль. В избу пахнуло холодом. Посмеркалось, трава налилась тяжелой яркой металлической синью.

Хлопнула в сенях дверь, Трубникову подумалось — от ветра, но то был Маркушев, бригадир. Глаза его красны, как у кролика, от ветра и сеной трухи.

— Кончили, Егор Афанасьич. — Он улыбнулся через силу.

— Правда, что ль? — недоверчиво произнес Трубников.

— Все, подчистую! Так мы ждем вас, Егор Афанасьич.

— А? Ну да! — вспомнил Трубников о свадьбе. — Стога клали в шесть обхватов?

— Как велено!

— Молодцы! — от души сказал Трубников. — Черт знает, какие молодцы, что до грозы управились!

— Да, там такое заворачивает!.. — Маркушев махнул рукой. — Ну, я побежал.

«Хороший парень, — думал Трубников по уходе бригадира. — Замечательный парень. Подарю ему свои ручные часы».

За окнами еще потемнело, а наросший ветер, уже не размениваясь на мелочи, гнул деревья, ломал сучья, мчал серые низкие тучи, ронявшие порой редкие крупные капли, тут же осушаемые пылью. Пришла Надежда Петровна, лицо темно от сеной пыли, на щеках влажные черные потеки.

— Зареченское кончили, — сказала она, предупреждая вопрос Трубникова, — а к Бутовской пустоши даже не приступали. Уж очень сено богатое, в Заречье больше восьми стогов отроду не ставили, а нынче двенадцать.

— Эх, вы! А Маркушев все подчистую добил!

— Не знаю, как это он исхитрился, — развела руками Надежда Петровна.

С силой, раз и другой, хлестнул по окнам ливень и, унесенный ветром, оставил на пыльных стеклах оспенную рябь. Ветер завыл еще неистовей, сквозь него колоколами звучал далекий гром. Стало темно, Надежда Петровна зажгла свет.

Редкий, но сильный дождевой охлест прибил пыль, можно было подумать, что ветер утих, если бы чудовищная его крепость не давила на стены избы, даже внутри ощущалось страшное, тревожное напряжение. А потом Трубников увидел, как давно не чесанный, лохматый плетень скотницы Прасковьи выпятился наружу, оторвался правым крылом от столба, лентой взмыл на воздух и рухнул на кусты соседнего двора. От старой плакучей березы, что росла против дома, неторопливо и беззвучно за воем ветра и колокольным перезвоном грома отделился огромный сухой сук, пал на землю и неуклюже повлекся по улице, оставив на стволе белую с про чернью рану.

Трубников прошел к вешалке и неловко натянул дождевик с капюшоном.

— Ты куда? — испуганно спросила Надежда Петровна.

— Сейчас вернусь.

Ветер едва не опрокинул его, он ухватился за калитку, затем, откинувшись назад, будто опершись о тугую струю ветра, зашагал по улице, свернул в проулок и, достигнув бугра на задах деревни, увидел поле. Над розоватым ковром вновь отросшего низенького клевера носились, будто ведьмины клочья волос, пучки сухого сена, вычесанные ветром из стерни. От сенной трухи воздух там был мутен, и Трубников не сразу углядел в дальнем конце луга огромный шар, с перевальцем катившийся по земле. От этого гигантского перекасти-поля отделились темные клочья и тоже взмыли вверх. Трубников угадал, что это поверженный стог, лишь когда на его

глазах другой стог накренился всем составом, рухнул и, прокатившись с десятков метров, перестал существовать, растерзанный ветром. Повалился еще один стог, затем еще и еще. Стиснув зубы, смотрел Трубников, как уничтожает ураган нелегкий труд людей. А потом он заметил, что ветер валит лишь стога, сметанные сегодня, и бессилен против вчерашних стогов, темнеющих вдаль, за сухой балкой. Он не услышал, как подошел человек, и вздрогнул, ощутив на плече чью-то руку. То был Игнат Захарыч, бригадир-полевод.

— Не горюй, Афанасьич, — сказал старик, приблизив губы к уху Трубникова. — Завтра мы клеверок раскидаем, просушим и застогуем обратно.

— А у тебя как? — закричал Трубников.

— Стоят как вкопанные.

— Вон за балкой тоже стоят!

— Видать, поторопились нынче. Утоптали плохо, да и окружность не соблюли.

— То-то и оно!.. — Трубников услышал вдруг свой громкий голос, и тут же убралось твердое колено ветра, давившее в поясницу.

Ветер сгас мгновенно, будто израсходовал весь заряд. Вместе с ветром унеслись серые низкие облака, небо поднялось выше, все в окладе серых грозových туч, а над самой головой открылась светлая тревожная голубизна, и будто из этой голубизны отвесно упала дрянная тонкая молния, бледно и слепяще вспыхнув у самой земли, и тут же с чудовищной силой ударил гром. Трубникову показалось, что он ощутил вздрог земли, пронизанной могучим электрическим разрядом.

— Беда! — услышал он испуганный голос Игната Захарыча. — Молонья-то в коровник жиганула.

Когда они бежали к коровнику, разразился ливень, тяжелые, толстые капли больно клестнули по лицу. Трубников все старался разглядеть сквозь стенку дождя

клубы дыма. Но если молния и угодила в коровник, дождь не даст заняться пожару.

Оказалось, молния ударила в землю перед хлевом, куда скотница Прасковья как раз загоняла коров. Убило Белянку, ее обуглившийся труп лежал посреди двора, едко пахло паленой шерстью. Белянку так и не удалось раздоить после зимней голодухи, ее наметили на выбраковку, и потеря была невелика...

Вскоре гроза утихла, день сразу помолодел. Перед тем казалось, будто наступил вечер, такую темень нагнала гроза, но сейчас омытое небо вновь голубело, и закат только принимался за свою работу. Вернувшись домой, Трубников переоделся в сухое и сам начистил забрызганные грязью сапоги. Он каждый день приучал свою одинокую руку к какому-нибудь новому действию. Полюбовавшись зеркальным глянцем голенищ, он услышал вдруг взволнованный, радостно-встревоженный возглас Надежды Петровны:

— Идут!

Трубников выглянул в окно и увидел приближающуюся к дому толпу. Впереди шагал Павел Маркушев в темном костюме и белой сорочке, рядом с ним молодая, в светлом длинном платье с фатой и ромашковым венком на голове, за ними выступали родня и гости, среди всех выделялся дородством старший брат Павла, уральский сталевар. Трубников не пришел, и вот свадьба оказывает ему честь, пожаловав с приглашением. А Трубников чувствовал глухую боль. Пока бушевал ураган, опрокидывая и раздирая стога, Павел Маркушев готовился к свадьбе. Конечно, и старик Игнат Захарыч знал, что с грозой не поспоришь, а все же напялил кожушок и побежал в поле. То, что происходило в поле, было для Павла чужим, а своим, кровным — сыграть свадьбу, пока не уехал брат, уралец. И это было куда горше того ущерба, что причинила

гроза. Да и всех-то потерь пока — один день. Конечно, это и мало и много: заряди дожди, и один потерянный день обернется бескормицей, провалом всех надежд и расчетов. Понимают ли это люди?..

— Выйди на улицу, неудобно! — услышал он голос Надежды Петровны.

И Трубников вышел.

— Егор Афанасьич, а мы за вами! — радостно, неуверенно и смущенно сказал Павел.

— Знаешь, что стога повалило? — ровным голосом спросил Трубников.

Павел сделал грустное лицо, но, не под стать, глаза его ликовали.

— Такая незадача!.. — Он покрутил головой. — Прямо, можно сказать, несчастный случай. Уж вы не сердитесь, Егор Афанасьич, больше такого не будет!

«Да, надо быть добрым! Ну что, в сущности, произошло? Люди малость поторопились, уж очень охота на свадьбе погулять, а бригадир проглядел или понадеялся — так сойдет. И сошло бы, если бы не ураган. Верно ведь — несчастный случай! А Маркушев парень хороший, искренний, и девушка, видать, славная, вон как любовно смотрит, за Павла опасается, за свой праздник. Такой день на всю жизнь запоминается и запомнится! Надо быть добрым, это совсем не трудно, ну, хотя бы так: «Эх, Паша, Паша, а я на тебя понадеялся. Что ж ты, брат?» — «Виноват, Егор Афанасьич, оплошали, завтра все наворачстаем». — «Ну, коли наворачстаете... Разве я не человек, не чувствую? Обнимемся, други, мир прекрасен, а прекрасней всех молодая невеста. И что значат шесть стогов сена перед той жизнью, что вас ожидает?..»

Да, надо быть добрым, — думает Трубников и будто слышит голоса: «Наш — только снаружи грозен, а так душа-человек, Пошумит-пошумит и остынет. Намедни

у нас стога повалило, а он ничего, с бригадиром за свадебный стол сел. Понимает, значит, что одной нам жизнью жить». Да, одной, со всеми свадьбами, крестинами, рожденьями, смертями, удачами, неудачами, радостями и горестями! И сколько в этой жизни будет трудного, досадного, нелепого, мешающего, опасного, если не быть хоть раз по-настоящему добрым, беспощадно добрым!..»

— Мразь! — громко сказал Трубников. — Раз ты коллектив обманул, нет тебе ни в чем веры. Я бы еще подумал на твоём месте, — он поглядел в помертвевшее бледное лицо молодой, — стоит ли с таким свадьбу вязать. — Повернулся и вошел в дом.

Он вошел в дом и сел возле кухонного окошка, глядящего на огород. Затем услышал мягкие шаги Надежды Петровны. Она остановилась за его спиной. Он не повернулся, он не хотел ей помочь сейчас, пусть сама поймет, что он был прав.

— Ох, и одиноко тебе будет, Егор, — сказала она печально.

Трубников промолчал.

— Знаю, это большая в тебе сила, что так можешь, только надо ли? Надо ли так с людьми?

— Знаю, мать, — обернулся Трубников. — Раз нам свадебных пирогов не есть, собери-ка поужинать..

## БОРЬКИНЫ РИСУНКИ

**В** то первое утро Трубников ушел на работу до свету, Борька еще спал. Днем он наведывался домой, но Борька еще не вернулся из школы. Встретив в поле Надежду Петровну, Трубников спросил:

— Ты говорила с парнем?

— Сказала, что у него новый отец.

— Какой я ему новый отец? — поморщился Трубников. — Он своего отца помнит, жалеет...

— Это ничего. — Надежда Петровна осторожно тронула его руку и смущенно добавила: — Я почему-то заплакала...

— А он?

— Помолчал и пошел в школу.

— Ладно, иди работай.

Они встретились за ужином. Подав самовар, Надежда Петровна под каким-то предлогом вышла из дому. Трубников задумчиво глядел на Борьку. Высокий, крепкий подросток, он был очень похож на мать и вместе резко отличен. Материнские большие глаза, крутой лоб, короткий прямой нос, материнская скуластость, даже родинки рассеяны по лицу, как у матери, но совсем иные краски. Надежда Петровна смугла, русоволоса, кареглаза; Борька белокож, волосом темен, глаза голубые. Черты Борька взял материнские, а расцветку — отцову. Отпечаток этого неведомого, чужого начала на милом и родном чертами лице странно тревожил Трубникова.

Борька не разглядывал украдкой Трубникова и не дичился, не обнаруживал ни тайной ревности, ни скрытого недоброжелательства, но и не давал заглянуть в себя. Он просто пил чай с блюдца, а когда Трубников заговорил, поставил блюдце на стол и, сложив руки на коленях, стал слушать, глядя прямо в лицо Трубникова красивыми, задумчивыми, редко моргающими глазами.

— Вот, Борис, — начал Трубников, — случилось, что нам жить теперь вместе. Конечно, отца я тебе не заменю, да ты и сам того не ждешь и не хочешь. Отец у тебя один, и это свято. Как ты был у матери на пер-



вом месте, так и останешься. Но я, видишь, инвалид, со мной много возни требуется, не обижайся. У меня своих детей не было, и обращаться с вашим братом не умею. Если что не так — скажи прямо. Не знаю, станем ли мы с тобой друзьями, но уважать друг друга будем. А главное, мы оба должны о матери помнить, чтобы ей жилось хорошо, она заслужила. Согласен?

— Согласен, дядя Егор. — Это прозвучало готовно, искренне, славно.

Когда Надежда Петровна вернулась, Трубников и Борька молча пили чай, словно им никакого дела не было друг до друга, но безошибочным чутьем она угадала, что разговор у них был добрый и семейная телега не завалилась в колдобину в самом начале пути.

При крайнем несходстве характеров они были схожи в одном — в страстной поглощенности своим делом: у Трубникова таким делом был колхоз, у Борьки — дома, которые он мог рисовать с утра до ночи. В воскресные дни он так и поступал, и тогда весь окружающий мир исчезал для него. Нежданно-негаданно Борькины рисунки сблизили их, и так тесно, что Надежда Петровна не смела даже мечтать о том.

После того вечера, когда Трубников силился разглядеть в слабом свете ночника развешанные по стенам рисунки, он больше не замечал их, они стали для него привычной частью убранства горницы. Новых рисунков Борька не вывешивал, он рисовал теперь в альбоме, и Трубникову в голову не приходило заглянуть, что он там марает. Есть у парня такая блажь — и ладно, все лучше, чем слоняться по улице или жарить в «очко» замусоленными картами.

Но однажды, желая отвлечься от острой боли в несуществующей руке, он стал рассматривать наколо-

тые на стену листы. Сухая манера письма — не то рисунки, не то чертежи — понравилась Трубникову, чем-то оказалась близка ему. Если жилой дом, то можно пересчитать все окошечки; если башня, то виден каждый зубец; если дворец, то тщательно вырисовано мельчайшее украшение, всякий завиток. Дома представлены в перспективе, каждое здание открыто глазу с фасада и сбоку. Здания были тесно окружены кружочками на тонких ножках, и Трубников не сразу понял, что это условное обозначение деревьев.

В рисунках не было красоты, это Трубников почувствовал сразу, но зато по ним можно было строить.

Вызвать Борьку на разговор оказалось делом не легким, он упрямо, жестко и стыдливо оберегал свой внутренний мирок. Альбом он все-таки показал, но там не было ничего нового: опять дома, дома, дома, большие и маленькие, простые и замысловатые, дома гладкостенные, дома с колоннами, с лепкой, с балконами, башенками, дома, похожие на театры и подобные дворцам.

— Почему ты рисуешь одни дома? — допытывался Трубников.

— Так... — отводил глаза Борька.

— А ты где-нибудь видел эти дома?

— Н-нет...

— Значит, сам придумываешь?

Борька молчал.

— Я тебя не праздно спрашиваю, мне для дела нужно. Хочу понять, чего ты можешь, чего нет.

— Ничего я не могу! — вспыхнул Борька.

— Челуха, дома ты здорово можешь. Ты в городе бывал?

Оказывается, в конце войны, когда отряд Почивалина вышел из леса, Борька по пути домой побывал в

областном городе, и город этот произвел на него тягостное впечатление. Он был сильно разбит войной, темные, слепые оконницы, стены, словно обгрызенные зубами какого-то чудовища, оголенные лестницы, провисшие над пустотой, безобразно порванные крыши долго преследовали Борьку ночным кошмаром снов. Заболевая, он всегда видел в жару мертвые глаза окон, черное, давящее уродство развалин, он кричал, метался, но дневным сознанием не мог постигнуть, чем его так пугают порушенные здания. А потом он стал строить город наново, строить на бумаге. Все здания, какие он рисовал, принадлежали одному городу: жилые дома, театр, кино, Дворец пионеров, здания горсовета, почты, железнодорожного вокзала...

Вот что понял Трубников из туманных и сбивчивых Борькиных пояснений.

— А ты можешь таким же манером построить нашу деревню?

— А чего строить-то? — Борька удивленно поднял темные брови. — Деревня, она деревня и есть.

— Я говорю о Конькове, каким оно станет потом, лет через десять.

— Каким же оно станет?

— Я почему знаю! — вдруг рассердился Трубников. — Другим оно станет! А каким — тебе видней, ты архитектор, я заказчик.

— Нет, не смогу, дядя Егор, — чуть подумав, сказал Борька. — Деревни такой я сроду не видал.

— А фантазия зачем человеку дана? У меня ее с гулькин нос, и то я знаю, что у нас будет. Клуб, столовая, мастерские, школа-десятилетка, почтовое отделение, больница, санаторий... Одним словом, не деревня, а колхозный городок над славной речкой Курицей! Избы деревянные, под железом, а все постройки каменные, да не какие-нибудь там бараки, а с игрой...

— А для чего это вам надо? — спросил Борька.

— А ты для чего свой город строишь? — с сердцем сказал Трубников. — Я так понимаю: у тебя это, ну, вроде протеста, что ли, против безобразных разрушений войны, беспорядка, грязи. Вот и у меня протест против нынешнего Конькова, неохота мне таким его видеть. Наверно, и другим людям неохота. Давай покажем им, какой наша деревня будет! Не в альбомчике, не врозь, а цельной картиной, чтобы каждое здание на своем месте стояло, чтоб видно было: да, это наше Коньково, вот речка Курица, вот старый вяз, вот Сенькин бугор, а вот это, мать честная, кино, санаторий, школа, почта! Тогда людям ясно будет, на что они труд кладут. Понял?

— Понял, теперь понял, — улынулся Борька.

В колхозе была горячая пора, и все же Трубников каждый день находил время, чтобы побродить с Борькой по деревне и ее ближней окрестности и выбрать место для очередного здания. Борька делал набросок местности, чтобы потом вписать в нее то или иное строение. Однажды они пошли на реку приглядеть, где быть новому мосту. Старый, трухлявый мостик через Курицу лежал в низине, вечно затопляемой то паводком, когда узкая, мелководная в межень речка разливалась вдруг озером, то летними и осенними дождями. Трубников считал, что новый мост надо навести с кручи.

Было жаркое майское утро. Тонкая вода отблескивала солнцем, под водой сверкала галька, резко и светло отражали солнце белые гладкие камни и желтый песок, обозначавшие былую ширь речного русла. Отпавший камыш в заводи был туг, маслянист, густо зелен. Изредка между каменными кругляшами, устилавшими дно, проскальзывал темным вертким телом вьюн, косой штриховкой пронеслись стаи малявок,

зеркальцем взблескивал бочок пескаря или плотички. Лишь одни ветлы, тяжело нависшие с берега, сопротивлялись пожарной силе солнца. В их густой, издали почти черной листве гасли яркие лучи; ветлы оберегали воду от блеска, под ними царил зеленоватый сумрак, и река там обманчиво казалась глубокой. Пела горлинка. Свою тонкую, нежную песенку она прерывала вдруг резким, пронзительным вскриком, а потом, как ни в чем не бывало, длила тоненькую оборванную ноту.

Странное чувство чего-то пережитого овладело Трубниковым. Оно было куда сильнее, чем тогда, у старого вяза, и оно не исчерпалось коротким, как вздрог, видением. Вначале смутное, безотчетное, оно все сильнее и определеннее подчиняло себе память. Когда-то там, за ракетами, шевелящими листвою на серебристой подкладке, начиналась узенькая, едва видная тропка; она взбиралась на бугор, то вовсе исчезая под лопухами, то возникая песчаными плешинками, и подводила к горбатуму плетню, за которым темнела взъерошенная непогодами, придавленная старой сохой соломенная крыша. Сейчас там густо разросся бурьян, заглушив все следы былого жилья, а лет сорок назад оттуда босыми ногами по льдисто-холодной росе сбегал маленький Егорка, чтобы опростать поставленную на ночь вершу. Кусала пальцы, закиданные цыпками, настывшая вода, тяжелая в первый хват верша рассыпала из себя воду, странно легчала, за тонкими пленками, затянувшими ячейки, трепыхались пескари, плотва, ершики. Но он не успевал толком разглядеть улов, через него на кромку песка, на воду ложилась длинная тень, большая жилистая рука охватывала под мышкой за грудь, и, прижатый к теплему боку, погруженный в родной запах матери, запах теста, парного молока, печного дыма и еще чего-то непередаваемого, что

было присуще только матери, он совершал по воздуху обратное путешествие к дому, чтобы умыться и выпить кружку холодного молока с погреба...

Захваченный этим внезапно и властно нахлынувшим воспоминанием, Трубников физически ощутил холод, мозжащий босые ноги и погруженные в воду руки, крепкое тепло материнского тела и ту бурную радость от солнца, росы, рыбы, легкого подзатыльника, от всего существования, какая наполняла в те далекие утра его маленькое существо. С тех пор жизнь не раз награждала его подзатыльниками, да такими, что раскалывался череп, но уже не было надежного материнского тепла, твердой доброй руки — защиты, что вернее всех крепостей в мире. Ничего от матери не осталось, даже могильного бугра на старом деревенском кладбище. Немцы превратили кладбище в свалку, кресты пустили на топку печей, заброшенные могилы рассыпались, глухо заросли травой и кустарником...

— Вы чего, дядя Егор? — услышал он Борькин голос.

— Задумался, — сказал Трубников. — Вишь взгорбок? Там родительский дом стоял...

Другой раз забрели они в старую тополевую аллею, носившую название Барской. Она находилась в полукилometре от деревни и некогда вела к имению прежних владельцев Конькова. Шли сквозь реюющий топовый пух, будто сквозь снегопад, легкие цепкие пушинки набивались в волосы, приставали к одежде, щекотно лезли в ноздри.

От барского дома остался лишь фундамент да кое-где цоколь, одетый плитняком в зеленом плесневом обмете. Тополи здесь расступались широким кругом, за ними по правую руку раскрывался голый пустырь. Где-то, невидимая, журчала вода. Трубников вспомнил, что Курица забрасывает сюда петлю и на самом закруг-

лении петли скидывает воду через каменистый перекат.

— Вот где санаторий строить, — сказал Трубников. — Реку запрудим, чтобы озеро натекло, лучше места не найти.

— Да... — рассеянно отозвался Борька.

Он глядел вдаль, за тополи, на седой от ковыля пустырь.

— Там сад яблоневый стоял...

— Да ну? — удивился Трубников. — На месте пустыря?

— Ага, отец его насадил... Ох и любил он этот сад! — Борька слабо улыбнулся. — Зимой все с зайцами воевал. Вдруг ночью вскочит, ноги в валенки, полушубок на плечи, схватит двустволку, и бегом! А летом ему златоуска житья не давала... — Он помолчал. — Сад еще при нас погиб, в сорок первом, страшные морозы держались, стволы лопались прямо как мины...

На пустыре среди ковыля кое-где подымались будто малые, тощие деревца, — это прижились к земле отпавшие веточки яблонь.

— Мы этот сад восстановим, — сказал Трубников. — Не сейчас, так через год, через два, а будет у нас молодой сад...

А затем их путешествия кончились, и Борька стал переводить на огромный лист ватмана наброски будущих зданий. Коньково было изображено с низкого птичьего полета, были видны и стены, и крыши, и ближняя окрестность: поля, луга, рощицы. Трубников остался доволен, при всей новизне сразу можно было угадать, что это Коньково: вон и Курица вьется, как ей положено, и бугор со старым вязом на своем месте, и вся округа в подробности. Выполнен рисунок был в цветном карандаше, надпись дали самую краткую: «Так будет». Плотники сколотили деревянную стойку

с рамой, установили ее против строящегося правления и накололи кнопками картину на удивление и радость коньковцам.

Впрочем, ни удивления, ни радости Трубников не заметил, видно, людям недосуг картинку смотреть: началась жатва. Но однажды, возвращаясь под вечер с поля домой, Трубников увидел у стенда двух молодых колхозниц. Они водили пальцем по листу, переглядывались и смеялись. Обрадованный этим первым проблеском внимания, Трубников было направился к ним, но девчата, заметив председателя, испуганно охнули и пустились наутек. Трубников глянул на стенд, и лицо его затекло тяжелой темной кровью. Стены всех зданий на рисунке были испещрены отвратительными, грязными словами. Они метили каждое здание, в их начертании проглядывала злобная тщательность. Конькову недвусмысленно выразило свое отношение к зримому будущему колхоза.

Придя домой, Трубников спросил Надежду Петровну, где Борька, она молча кивнула головой на закуток.

— Плачет?

Надежда Петровна пожала плечами.

Трубников прошел в Борькин закуток. Мальчик лежал плашмя на койке, зарывшись лицом в подушку.

— Ну, Борис, это не по-солдатски!

Борька поднял измятое подушкой сухое бледное лицо.

— Чего вам, дядя Егор?

— Мне показалось, что ты того...

— Нет. Я просто думаю.

— О чем?

— Почему люди такие злые... Ведь это же хорошо, что мы с вами придумали? И нарисовано хорошо, правда?



— Хорошо, а только до времени. Поторопились мы.

— Почему?

— Дай голодному вместо хлеба букет цветов, он, пожалуй, тебе этим букетом по рожке смажет... Вроде и с нами так получилось. А люди не злые, не смей о людях так думать. Сам знаешь, как всем эти годы дались, отсюда и раздражение... А все-таки наша с тобой возьмет!..

Ночью Трубников долго ворочался без сна, не спалось и Надежде Петровне.

— Маниловщина! — вдруг громко сказал Трубников.

— Что ты? — не поняла Надежда Петровна.

— Маниловщина, говорю. «Мертвые души» Гоголя читала?

— Нет. Я его «Женитьбу» перед войной в областном театре видела...

— А не читала — не поймешь!..

На другой день Трубников распорядился собрать людей после работы у строящегося здания конторы. Когда он пришел, все были в сборе. Люди расположились на бревнах, позади них возвышалось почти законченное здание, ярко-желтое, вкусно пахнущее смолой, паклей, свежей стружкой, перед ними — опозоренный стенд.

Плотницкая бригада, недавно вернувшаяся в колхоз из дальних странствий по волжским городам, держалась кучно: в пилочной крошке, витая стружка запуталась в волосах, бороде, топорышки за поясом — плотники радовали глаз своей мастеровой ладностью и уверенностью. Большинство колхозников пришли с поля, возле них стояли прислоненные к бревнам косы с синеватыми запотелыми ножами. Особняком держались старики: бывший слепец Игнат Кожаев с женой и новый старец, недавно приманенный Трубниковым в

колхоз из райцентра, где он подвизался в дворниках, — Евлампий Тихонович. Бывший правофланговый его императорского величества Перновского полка, Евлампий Тихонович сверху вниз глядел на рослого Кожаява.

Трубников поздоровался и стал перед собравшимися, имея за спиной картину светлого коньковского будущего, перечеркнутого похабными словами. Конечно, колхозники знали, зачем он собрал их, об этом ясно говорило самое место сходимки. Обычно собирались возле старого здания конторы, где теперь обитал бригадир полеводов Кожаяв.

— Вы что, думали удивить меня матом? — с жестким напором начал Трубников. — Меня, который, случалось, обкладывал целые батальоны, бранью вышибал из людей страх и гнал их под кинжальный огонь, на гибель и победу? — Лицо Трубникова побагровело, голос налился, распался. — А ну-ка я сам вас сейчас подивлю! Бабы, — гаркнул он, — закрой слух!

Женщины поспешно, кто ладонями, кто воротниками, жакетами, платками, прикрыли уши.

— Ладно, товарищи, шутки в сторону, — чуть помолчав, спокойно сказал Трубников. — Некоторые из вас, при попустительстве остальных, оплевали свое будущее. — Трубников повел рукой на стенд. — То, что нарисовано тут, не блажь, а наш с вами завтрашний день, а вы его загадили, осрамили, опохабили...

— Да ведь кто знал, Егор Афанасьич, — сказал, покраснев, Павел Маркушев, — думали так, на смех повешено.

Маркушев врал, но врал от смущения, не за себя, конечно, он-то к этому руку не прикладывал, а за тех, кому должно было стыдиться.

— К вам вопрос, товарищ председатель! — крик-

нула старуха Коробкова. — Когда, к примеру, все эти чудеса на постном масле ожидаются?

— Это не от меня, от вас зависит.

— Картинка не нами рисована, Афанасьич. Ты малевал, ты, будь добрый, и ответ держи!

— Что ж, лет за десять управимся.

— Вона! Да мне за седьмой десяток перевалит!

— А Кланька, твоя внучка, только в возраст войдет, десятилетку кончит, нашу, коньковскую. Тебе что — неохота, чтоб твоей внучке жилось хорошо?

— Да это кто говорит..

Послышалось слабое жестяное треньканье. Из широкого проулка, ведущего к низкой луговине, поросшей густой темной травой, появилось коньковское стадо. Сбоку с кнутом на плече шагал дедушка Шурик, трезвый и печальный. За ним в голубой ситцевой рубашонке и драных портках, пустив по земле маленький кнутик, деловито семенял его правнук Шурка. В воздухе послышался нежный дразнящий запах парного молока. Девять из двенадцати коров удалось заново раздоить, их вымя пахло молоком. Каждый день семьи, имеющие детей, получали бутылку-две молока. Кроме них, в стаде шло два десятка годовалых телок. Длинные тени коров заскользили по фигурам расположившихся на бревнах людей. Скотница Прасковья встала и быстрым шагом направилась к ферме.

— А правильно мы поняли, — крикнула рыженькая Нина Васюкова, главная заводила «улицы», — что с колоннами это клуб?

— Правильно.

— А напротив него?

— Общественная столовая.

— А за Барской аллеей?

— Фруктовый сад, колхозный дом отдыха, вроде санатория.

— Ну и ну!

— А дале — хрустальный дворец! — раздался звонкий насмешливый голос Полины Коршиковой. — Им сказки рассказывают, а они и губы распустили!

— Да и впрямь чтой-то не верится, — скучным голо-сом сказала старуха Коробкова.

— А когда вам верилось? — не то с горечью, не то с насмешкой крикнул Трубников. — Говорил, подыдем коров, — не верили! Говорил, денежный аванс дадим, — не верили! Говорил, вернем в колхоз разбежавшийся народ, — не верили! Вот ты, Полина, тут про сказки плела, а давно ли тебе сказкой казалось, что твой раз-любезный супруг Василий в колхоз вернется? Вон он, на бревнах сидит, новые штаны протирает!.. Да вы лучше припомните, что тут прежде было, а потом оглян-нитесь!..

— А и верно, бабы! — крикнула скотница Прасковья. Она приняла коров от дедушки Шурика и вернулась на собрание. — Нешто можно равнять?.. Председа-тель, — повернулась она к Трубникову, — скажи на милость, почему это наша деревня на картине такая огромная?

— Молодые подрастать будут, от стариков отде-ляться, значит, деревня вширь пойдет. А еще есть ре-шение Беликов хутор передать нашему колхозу, хватит им на отшибе болтаться!

— А вот, товарищ председатель, — снова сунулась старуха Коробкова, — с чего это на вашей картинке вместо приусадебных участков садочки какие-то?

Трубников улыбнулся. Похоже, они куда лучше по-знакомились со стендом, чем он мог предполагать.

— Разглядела?

— Может, и не разглядела бы, да люди указали.

— Что ж, важный вопрос. Такая наша конечная

программа, товарищи: хозяйства без дежи, без коровы, без приусадебного участка...

— Так этого уж достигли, милоч! — перебила Коробкова. — Осталось только огороды отобрать!

— С тобой, Коробкова, хорошо на пару дерьмо есть.

— Это почему же?

— А ты все вперед забегаешь! — Трубников переждал, пока утих смех. — Когда станем давать на трудодни два литра молока, сами от коров откажетесь; когда станем в колхозной пекарне хлеб выпекать, сами не захотите с тестом возиться; когда откроем общественную столовую и овощи войдут в оплату трудодня, хозяйки сами не захотят на участке маяться. Что, не так? Оговорюсь для вашего спокойствия: придем мы к этому не раньше чем вы вдоволь насладитесь и собственной коровкой, и собственным боровком на откорме, и всякой всячиной со своего огорода! Сейчас нам без этого подспорья не обойтись, и если кто в этом году не осилит корову, колхоз выдаст ссуду... А вот Кланька, — Трубников остановил взгляд на русоволосой, с присохшими соплями под вздернутым носом, внучке Коробковой, — если ее не задушат сопли, никакой домашней маяты знать не будет. Тогда она и скажет спасибо своей бабке, что та не только языком чесать горазда была, но и трудилась, старая, для ее счастья...

Собрание оживилось, пошли вопросы и расспросы, все заговорили скопом, заспорили. Кто-то спросил, в какой последовательности пойдет стройка, девчата требовали, чтобы перво-наперво строился клуб, скотница Прасковья ратовала за молочную ферму, а Игнат Захарыч, бывший слепец, настаивал на санатории: ему-де не обойтись без хвойных ванн.

«А ведь разговор-то состоялся!» — подумал Трубников, рассеянно прислушиваясь к спорящим.

Когда собрание закрылось, Павел Маркушев спросил Трубникова, как быть со стендом.

— А что? Пускай стоит!

— Неудобно, Егор Афанасьич, ну-ка чужой кто увидит? Может, подчистить резинкой, ножичком поскоблить?

— Что ж, пусть этим займется те, кто в глупости своей расписался...

## ПЕРЕВЫБОРЫ

Тарантас то плавно тек по бархатно-пыльной дороге, оставляя за собой длинное, как паровозный дым, стелющееся к земле желтоватое облако, то по-утиному перепадал с боку на бок в балках, хранящих влажно-глубокие прорези колеи, то подпрыгивал, стреляя, гибнуще стонал своим ветхим, разболтанным составом на редких вкраплениях булыжника в земляной мякоти большака.

Инструктор райкома партии Раменков, полулежа на просторном, мягком сиденье тарантаса, с каким-то радостным безволием отдавал свое расслабленное тело причудам дороги. До райцентра было около тридцати километров, и Раменкова радовало, что путь ему предстоял долгий, что еще несколько часов он будет наедине с самим собой, со своими мыслями и тем глубоким, расстроганным чувством, которое он ощущал в себе, как второе сердце.

Сентябрьский подвечер был тепел, ясен, чуть слышно припахивал дымком, как и всегда бывает в пору бездождной, солнечной ранней осени, когда золотая палая листва так суха, что порошится от дуновений ветра.

На лицо Раменкова то и дело нежно и вязко опускались нити паутины, прозрачно, серебристо плавающей в воздухе. Он снимал их осторожно, словно боясь повредить, и пускал на воздух, но они, утратив летучесть, прилипали к сиденью.

Широкая, сутуловатая спина возницы Алеши Силуянова закрывала от Раменкова лошадь, и лишь редкий сухой треск да крепкая вонь конского навоза, волной ударявшая в нос, напоминали о том, что тарантас не своей силой влечется по большаку. Порой из-под ног невидимого коня выпархивали стаи воробьев и, протрепетав вровень с тарантасом, враз исчезали, будто растворялись в воздухе.

Неторопливо, со вкусом Раменков переживал новое, отроду не испытанное чувство очарованности человеком...

Что было правдой и неправдой в истории Трубникова с директором МТС, теперь уже трудно было понять. Раменкову хотелось верить в районную легенду, несмотря на все ее неправдоподобие. Когда засуха, охватившая край, накрыла своим черным крылом их район, слышнее запахло гарью и в бледно-желтых колосьях сморщилось зерно, Трубников потребовал, чтобы МТС немедленно приступила к уборке хлеба на полях «Зари». Но область еще не дала указания о начале уборочной, и директор МТС отказал. Тогда Трубников, человек непьющий, смочил носовой платок в спирте-сырце и натер им губы и десны; засунув за голенище огромный нож, он явился к директору МТС и, жарко дыша сивухой, то и дело хватаясь за рукоять ножа, заявил, что он по контузии ответственности не подлежит, за себя не ручается, и пусть директор или начнет уборку, или аннулирует договор с «Зарей». Перепуганный директор согласился на второе. Далее легенда утверждала, что, выйдя от него, Трубников завернул в парикмахерскую, вылил полфлакона одеко-

лона на другой носовой платок и отмыл рот, после чего, вернувшись в колхоз, приказал убирать хлеб вручную: серпами и косами...

Правда, куда проще было поверить объяснению, которое давал в райкоме директор МТС: он потому пошел на предложение Трубникова аннулировать договор, что по крайней скудости запасных частей на станции боялся провалить уборочную. Но сейчас это казалось Раменкову слишком пресным...

Когда же пришло запоздалое распоряжение о начале уборочной, Трубников уже был с хлебом. Он раздобыл где-то старую, поломанную молотилку, отремонтировал ее и кончил обмолот, когда другие колхозы лишь приступали к жатве. Он рассчитался с государством, сдал хлеб сверх плана, сколько решили колхозники, засыпал семенной фонд, расплатился с МТС за весенние работы, все остальное зерно роздал на трудодни. Когда в районе хватились, было уже поздно. Конечно, и с трубниковским хлебом район все равно не мог выполнить план, слишком уж велик был недобор зерновых из-за засухи, но «средние цифры» не выглядели бы так плачевно.

Трубников и не думал каяться в своем самоуправстве. Оказывается, многие слова наполнены для разных людей разным содержанием. Хотя бы слово «государство», которое он, Раменков, столько раз произносил публично с должной значительностью и отвлеченным благоговением, для Трубникова наделено совсем иным, интимным, осязаемым, телесным смыслом. Он считает государством и своих бригадиров: Игната Захарыча, Павла Маркушева, скотницу Прасковью, пастуха дедушку Шурика, кучера Алешку и любого рядового колхозника. И он решительно не может и не хочет понять, почему люди, работающие по десять часов в сутки, не должны ничего получать за свой труд. И странно, те высокие и незыблемые понятия, в которых Раменков не по-



смел бы усомниться даже наедине с самим собой, мгновенно обесценивались прямой и грубой формулой Трубникова: колхозники должны жрать. Он снисходил и до более подробных объяснений: рабоче-крестьянское государство не может быть заинтересовано в том, чтобы содрать с колхозника последние штаны. А если так получается, то в этом виноваты бездарные, неумелые руководители. Кто-то услужливо довел речи Трубникова до ушей обкомовского начальства, и первому секретарю райкома Клягину было предложено одернуть зарвавшегося председателя.

Раменков присутствовал при этом разговоре. Клягин, всегда чуть робевший перед Трубниковым, в конце концов дал вывести себя из терпения.

— Демагогию разводишь, товарищ Трубников, — сказал он. — «Народ, народ!»... А ведь народ не больно тобой доволен. — Он выдвинул ящик стола и достал оттуда пачку писем, перетянутых резинкой. — Видишь, сколько на тебя заявлений? И груб ты и невыдержан, нарушаешь колхозный устав, самоуправствуешь...

Тут Трубников сделал быстрое движение, будто хотел схватить пачку, но Клягин накрыл ее ладонью. Секунду-две они жестко глядели друг другу в глаза.

— Заявлений много, — глухо проговорил Трубников, — только, может, все они одной рукой писаны.

— Одной не одной, а мы обязаны разобраться. — Скулы Клягина порозовели. — И вообще, товарищ Трубников, мы тебя назначили, мы тебя и... — Язык не повернулся сказать «снимем».

И странно, Трубников, который за словом в карман не лезет, притих, будто ушел в себя, и каким-то новым, задумчивым и кротким голосом сказал:

— Верно, назначили. Разве то выборы были? Люди и не знали, за кого голосуют. Так, на веру руки подняли. А теперь знают. — Трубников кивком головы показал на

стопку доносов. — Ошибаться может каждый, только народ не ошибается. Завтра устроим перевыборы. — Он поднялся, худой, костистый, хмурый, нахлобучил мятую соломенную шляпу и вышел из кабинета.

Клягин растерялся. Лишиться Трубникова вовсе не входило в намерения обкома. Остаток дня прошел в бесплодных телефонных переговорах с «Зарей». Инвалид второй группы, пенсионер Трубников был недосыгаем ни для требований, ни для скрытых и явных угроз. Он наотрез отказался хотя бы перенести собрание, чтобы райком мог подыскать кандидатуру на его место. «Нам варяги не нужны, — сказал он, — колхозники могут выбрать председателя из своей среды». И на другой день Раменков попутным грузовиком мчался в Коньково...

Раменков удобнее раскинулся на сиденье. Всего лишь несколько часов назад мелькали перед ним те же березовые перелески, те же поля, те же мочажины с зеленой осокой и смуглым камышом, а кажется, что минул век, и сам он стал другим, и все вокруг стало другим: светлым, по-новому родным.

Томительное и смущенное чувство, владевшее им по дороге в Коньково, стало нестерпимым, когда грузовик, распугивая гусей и кур, покатил по деревенской улице. Трудно было поверить, что это то самое Коньково, куда Раменков приезжал полгода назад. Деревня почти отстроилась, весело желтела свежим тесом, краснела, синела молодой окраской железных крыш...

А потом было собрание в новом здании правления, в пахнущем смолой зальце, с лавками, стоящими рядами, с большим столом президиума, крытым новым кумачом, на столе графин и граненый стакан — все чин чинном. Раменков невольно улыбнулся милому стеклянному лицу графина, единственно понятному лицу в этом зальце. Трубников, как всегда, был замкнут, хмуρο задумчив, а

собрание — необычайно для колхозной толпы молчаливо, нешумно, выжидательно-настороженно.

И был чисто трубниковский бред, который именовался отчетом.

— Мой отчет, — сказал председатель, жестко глядя в зал своими острыми синеватыми глазами, — у нас в хлебах...

И он дважды звонко хлопнул ладонью по столу.

Раменков лишь по смешку колхозников догадался, что Трубников воспроизвел смачный шлеп коровьего блина.

— Мой отчет, — продолжал председатель, — у нас в закромах... До новины хлеба хватит?

— Хватит!.. Дотянем!.. — разноголосьем отозвалось собрание.

— Добро! Первую заповедь колхоз выполнил, долгов не имеет. Все остальное — на иконах! — Трубников махнул рукой в обвод стен, увешанных слева цифрами выполнения плана, справа — обязательствами. — А теперь приступим к перевыборам.

Собрание зашумело, но Трубников поднял руку, и шум затих.

— Слово имеет инструктор райкома партии товарищ Раменков!

А у Раменкова язык присох к гортани. И, видно, сжалившись над ним, Трубников сам сказал собранию о заявлениях, поступивших на него в райком. Раменкову осталось только подтвердить слова председателя, причем он деликатно назвал доносы «сигналами».

— Никто сигналов не подавал! — слышалось из зальца.

— Не нужны нам перевыборы!

— Хотим Трубникова!

— Мы к Егору Афанасьевичу претензий не имеем! — вскочив с места, крикнула знакомая Раменкову старая скотница Прасковья.

— Неужто? — холодно сказал Трубников. — Я человек грубый, жесткий, самоуправный...

— Да мы не в обиде! — крикнул кто-то в задних рядах.

— Не в обиде?! — Трубников впился в зал своими глазами-буравчиками. — А я так в обиде! Плохо работаете, мало, при такой работе сроду в люди не выйти!

— Так говори прямо, чего надо! — раздался свежий, молодой мужской голос, и Раменков, подняв глаза, отыскал его обладателя, бригадира Павла Маркушева, которого Трубников жестоко опозорил на свадьбе. — Не тяни резинку, батька!

При этом слове Трубникова шатнуло, как от удара в грудь, и Раменков вдруг понял, чем было для Трубникова это собрание. Не из самодурства, не из обиды затеял Трубников перевыборы. В нем зародили сомнения, что он правильно служит людям, и он вышел на их суд. В этой жестокой, беспощадной проверке себя для Трубникова решалось: с народом он или против народа.

Тихо, с какой-то странной хрипотцой Трубников ответил:

— Двенадцать часов в полеводстве, четырнадцать на фермах...

— Так бы и говорил! — весело и тепло крикнул Маркушев. — Нашел чем испугать!

Кто-то засмеялся, кто-то хлопнул в ладоши, кто-то подхватил, и вот уже аплодирует весь зал, и Раменков с удивлением заметил, что у него помокрели глаза.

— Голосуем!.. Голосуем!.. — раздался голоса.

— Кто за Трубникова? — крикнул Маркушев.

Раменкову показалось, что все, как один, взметнули вверх руку. Но нет, в зале воцарилась странная, напряженная тишина, и люди медленно, угрожающе повернулись к углу, где сидели двое: плотный небритый чело-

век и дебелия, красивая женщина в нарядной шелковой шали, накинутой на полные плечи.

«Да это Семен Силуянов с женой!» — сообразил Раменков и понял, кто был анонимным автором заявлений.

Под взглядами односельчан Семен опустил глаза, жена заерзала на лавке, пальцы ее нервно передернули на плечах нарядную шаль. А люди смотрели молча, ожидая, недобро, и поднятые вверх руки словно застыли. Жена Семена спустила шаль с плеч и вдруг резко, зло пнула мужа локтем в бок. Все так же глядя в пол, Семен невысоко поднял руку, и тут же вскинула белую, по плечо голую руку жена.

— Единогласно! — громким, твердым голосом произнес Маркушев.

Трубников встал из-за стола, шагнул вперед. У Раменкова сжалось сердце: ему так не хотелось, чтобы обычной своей неприступной резкостью Трубников снял трогательность минуты.

— Ну, так... — сказал Трубников и замолчал. — Раз вы так... Тогда вместе — до коммунизма...

Отчего это слово, которое он сам, Раменков, произносил чаще и куда равнодушной, чем «мама», вдруг оглушило его раскатом весеннего грома? Оттого, что в устах Трубникова оно не было словом, оно было судьбой и самого Трубникова и сидящих в зале людей, их волевым жизненным устремлением, их каждодневным делом...

«Как это прекрасно! — растроганно думая Раменков, обводя вновь повлажневшими глазами тихо вечеряющий простор. — Знать, что ты делом служишь коммунизму. Не болтать о высоких идеях, а работать на них до пота, до крови...» На фарфоровом стаканчике телеграфного столба сидела сойка. Ее грудка розовела, и ярко, плотно сверкали синие перышки в крыльях. Вспугнутая трясним шумом наезжающего тарантаса, сойка скользнула со столба и, сильно, туго взмахивая крыльями, низом поле-

тела к лесу, всверкивая своей малой синевой. А если б так же вот, как эта сойка, кинуться вниз и прочь со своего телеграфного столба? К земле, к ее надежной тверди? Взять какой-нибудь отстающий колхоз и по-трубниковски быстро, мощно поднять его? По-трубниковски су-рово и прямо смотреть в глаза людям?..

Раменков попытался представить себя в роли Трубникова, но это как-то не получалось. В голову настойчиво лез другой образ: председатель колхоза «Луч» Васюков, каким он выглядел на днях по выходе из кабинета Клягина. Красный, потный, задыхающийся, словно в приступе астмы, этот немолодой, грузный, сизоликий человек был жалок, как потерявшийся в толпе ребенок. «Что я скажу людям?» — бормотал он, беспомощно разводя руками. По выплате натуроплаты МТС «Луч» не мог выдать колхозникам ни грамма зерна на трудодень.

В этом воспоминании Васюков с ядовитой легкостью замещался им, Раменковым. Когда же он пытался вообразить себя Трубниковым, в груди подымалось холодное и горькое чувство неверия.

С отчуждением, почти с враждебностью глядел теперь Раменков на разбегающиеся к дальним лесам поля, на эту землю, которая так ненадежна, требовательна и загадочна, которая должна почему-то кормить всех, кроме тех, кто на ней трудится. И когда в голубоватой вечерней дымке впереди возникли крыши райцентра и темная высокая каланча, Раменкова охватили нежность и тепло. Он представил себе мощенную булыжником площадь, чахлый скверик, серое двухэтажное здание райкома — бывший купеческий особняк — с толстыми стенами и глубокими окошечками, где летом всегда прохладно, а зимой тепло от калориферных печей, слабый мышинный запах сохранившихся от старины диванов и кресел, надежную крепость письменных столов в радужных кругах от чернильниц, увидел себя, подтянутого,

сухощавого, свежесбритого, четкой поступью входящего с папкой под мышкой в кабинет Клягина, и, охваченный радостным нетерпением соединиться с милой привычностью, крикнул сутулой, молчаливой спине возницы:

— А ну, давай с ветерком!

---

...Минуют годы, и все, о чем говорил Трубников в ясный августовский подвечер у смолистого сруба будущей конторы, станет явью.

Правда, коньковцам понадобится не десять лет, а пятнадцать, чтобы полностью перевести на землю Борькин рисунок, и не все из них доживут до этой поры. Не станет Пелагеи Родионовны Кожаевой, скотницы Прасковьи, дедушки Шурика, покинет деревню семья Семена, и даже Алексей, пристрастившийся к лошадям и не таящий зла на Трубникова, последует за отцом. Зато Коньково окажется чуть не в пять раз больше, чем думалось поначалу. В то время еще ведать не ведали о предстоящем укрупнении колхозов, и Трубников рассчитывал лишь на естественный рост деревни да присоединение Беликова хутора. Когда же для колхоза «Заря» придет пора укрупниться, к Конькову подселются окрестные деревушки и образуют с ним один большой колхозный массив...

Лишь почта будет построена колхозными мастерами так, как нарисовал ее Борька. Это большое, странное и нелепое строение будет немного напоминать церковь. Другие же здания будут построены по проекту районного архитектора, они совсем непохожи на Борькины наивные рисунки. А вот санаторий построит колхозный архитектор — Борис Лузгин-Трубников. Окончив архитектурный институт, Борька вернется в колхоз. Надежда Петровна и Трубников узнают тогда, что еще в институте он к отцовской фамилии присоединил фамилию отчима...

## СОДЕРЖАНИЕ

Возвращение . . . . .	3
Кнут и желейка . . . . .	22
Выборы . . . . .	30
Вечер и ночь . . . . .	39
Чудотворец . . . . .	50
Ураган . . . . .	65
Борькины рисунки . . . . .	77
Перевыборы . . . . .	92

---



*Юрий Маркович Нагибин*

**СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ТРУБНИКОВА**

**Редактор Е. Н. Янковская**

**Художник В. В. Медведев**

**Художественный редактор Э. А. Розен**

**Технический редактор А. С. Елагин**

Сдано в набор 11/1-62 г. Подписано к печати 5/XI-62 г. Формат бум. 70x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Физ. печ. л. 3, 25. Усл. печ. л. 4,45. Уч. изд. л. 4,6. Изд. инд. ХЛ 421. А 09835. Тираж 200 000 экз. Цена 12 коп.

Издательство «Советская Россия»,  
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Отпечатано на комбинате печати им. Камилы Якуба Отдела издательств и полиграфической промышленности Министерства культуры ТАССР, г. Казань, ул Баумана, 19, 1963 г.  
Заказ № Г-94.

### **К ЧИТАТЕЛЯМ**

*Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, Центр; проезд Сапунова, д. 13/15, издательство «Советская Россия».*



## **В С Е Р И И „КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ“**

**вышли в свет  
и поступили в продажу:**

**А. Блинов. Никогда без любви.** Рассказы. 112 стр., 11 коп.

**В. Астафьев. Солдат и мать.** Повесть и рассказы. 104 стр., 10 коп.

**Э. Казакевич. При свете дня.** Рассказы. 72 стр., 6 коп.

**В. Федоров. Сумка, полная сердец.** Повесть. 104 стр., 11 коп.

**А. Кузнецов. Биение жизни.** Рассказы. 184 стр., 18 коп.

**В. Амлинский. Станция первой любви.** Рассказы. 144 стр., 14 коп.

**С. Борзенко. Кровь на песке.** Повесть. 112 стр., 11 коп.

**Руд. Бершадский. Люблю! Ненавижу!** Рассказы. 84 стр., 9 коп.

**В. Ерашов. Поезда всё идут...** Рассказы. 104 стр., 11 коп.

**Находятся в производстве:**

**Л. Лиходеев. Мурло мещанина.** Фельетоны.

**Ф. Хусни. Мальчик, ведро, бабушка.** Рассказы.

**Г. Бакланов. Почем фунт лиха.** Рассказы.

*Книги продаются в магазинах Книготорга и потребительской кооперации, а также в киосках Союзпечати.*

12 коп.

• СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •